



# ГОРЬКЪ

СОБРАНИЕ СОМНЕНІЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДОВО ИЪ СЪТІЩА  
МОСКВА 1914

Судьба этой книги драматична и, пожалуй, типична. Она разделила участь многих выдающихся дореволюционных изданий, поскольку была исключена из круга нашего чтения на долгие времена. На ее обложке значится: Рерих. Собрание сочинений. Книга первая. Изд-во И. Д. Сытина. Москва. 1914. Однако собранию сочинений (оно планировалось в трех томах) не суждено было осуществиться: помешала начавшаяся мировая война. А первый том как бы ушел в подполье, став достоянием редких библиофилов. В послесталинский период началось постепенное, на первых порах достаточно робкое, возвращение Рериха и его трудов на Родину. Отдельные произведения из несостоявшегося собрания сочинений Рериха публиковались в журнальной периодике, включались в те или иные издания Рериха. Но вот в полном виде, в том, как ее задумал и выпустил в свет автор, книга появляется впервые. Здесь все оставлено без изменений, исключая изменившуюся после семнадцатого года орфографию. Единственное, что мы позволили: дать название тому Рериха, волею судеб превратившемуся в отдельное издание. Мы вынесли в заголовок название его статьи: "Глаз добрый". Сделано это не случайно. В статье сформулировано нравственно-эстетическое кредо художника. Своего рода девизом стали для Рериха слова Станиславского, обращенные к ученикам, — он их приводит в статье — "Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее". Впоследствии эта мысль, усиленная многовековой мощью восточной мудрости, зазвучит в первой книге Учения Живой Этики, согласно принципам которого Рерих и его семья будут строить свою жизнь: "Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в десять раз уменьшать явления несовершенства, иначе останемся прежними".

---

---



Судьба этой книги драматична и, пожалуй, типична. Она разделила участь многих выдающихся дореволюционных изданий, поскольку была выключена из круга нашего чтения на долгие времена. На ее обложке значится: Рерих. Собрание сочинений. Книга первая. Изд-во И. Д. Сытина. Москва. 1914. Однако собранию сочинений (оно планировалось в трех томах) не суждено было осуществиться: помешала начавшаяся мировая война. А первый том как бы ушел в подполье, став достоянием редких библиофилов.

В послесталинский период началось постепенное, на первых порах достаточно робкое, возвращение Рериха и его трудов на Родину. Отдельные произведения из несостоявшегося собрания сочинений Рериха публиковались в журнальной периодике, включались в те или иные издания Рериха. Но вот в полном виде, в том, как ее задумал и выпустил в свет автор, книга появляется впервые.

Здесь все оставлено без изменений, исключая изменившуюся после семнадцатого года орфографию. Единственное, что мы позволили: дать название тому Рериха, волею судеб превратившемуся в отдельное издание. Мы вынесли в заголовок название его статьи: "Глаз добрый". Сделано это не случайно. В статье сформулировано нравственно-эстетическое кредо художника. Своего рода девизом стали для Рериха слова Станиславского, обращенные к ученикам, — он их приводит в статье — "Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее". Впоследствии эта мысль, усиленная многовековой мощью восточной мудрости, зазвучит в первой книге Учения Живой Этики, согласно принципам которого Рерих и его семья будут строить свою жизнь: "Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в десять раз уменьшать явления несовершенства, иначе останемся прежними".

Разумеется, в нашем сознании Рерих ассоциируется прежде всего с его живописным творчеством, а уж потом — с литературным. Но надобно сказать, что работа над словом у Рериха шла параллельно работе с кистью, а иногда и опережала ее. Любопытно, что Рерих-писатель заявил о себе раньше, чем Рерих-живописец. Очерк "Сарычи и вороны" был опубликован, когда его автору исполнилось пятнадцать лет. А через год читатель имел возможность познакомиться с другим произведением будущего художника — "Дневники охотника".

Начинал Рерих, как и многие, со стихов. Конечно, они несамостоятельны. Баллады "Ушкуйник", "Ронсевальское сражение" написаны под влиянием Алексея Константиновича Толстого, поэта, полюбившегося художнику на всю жизнь. Эти ранние литературные опыты знаменательны тем, что в них явственно обозначился интерес к истории, к фольклору. Богатство устных народных сказаний, осмысленное и преобразованное творческим воображением художника и писателя, становится неотъемлемой частью его духовного мира.

Первый том собрания сочинений Рериха, как никакое другое его издание, отличается исключительным жанровым разнообразием. Авторская мысль движется по многим направлениям, стараясь воплотить себя все в новых и новых формах. Здесь и стихи, и темы,

сюжеты которых восходят не только к отечественному фольклору ("Лют — великан"), но и монгольским источникам ("Вождь") и к восточным преданиям ("Заклятие"). Кстати, цикл стихов "Заклятие" войдет впоследствии в единственный прижизненный поэтический сборник Рериха; им откроется его книга стихов "Цветы Мории". Здесь и новеллы, свидетельствующие о добротном профессиональном знании исторического материала ("Иконный терем", "Старинный совет"). Здесь и биографические очерки ("Дедушка"), и воспоминания о художниках, близких по духу и творческим устремлениям ("Врубель", "Куинджи", "Серов"). Щедро представлена эссеистика (уже упоминавшаяся статья "Глаз добрый", "Обеднели мы", "К природе" и др.). Значительное место занимают путевые очерки, ставящие целью проникнуть в одухотворенную красоту нашего исторического прошлого ("По пути из варяг в греки", "По старине"). И, наконец, сказки. Чувствуется, что это любимый жанр Рериха. В книге они составляют целый раздел.

Следует отметить, что даже в ранних произведениях Рериха, которые он считал возможным включить в свой первый том, начисто отсутствует дух подражания и робкого ученичества. Рерих не просто осваивает тот или иной жанр, а пытается в соответствии со своими внутренними задачами реформировать его. Обращаясь к традиционной форме сказки, он не только счастливо избегает соблазна стилизации (подстерегающего начинающих авторов), но и идет путем непроторенным и нетрадиционным. Динамизм его повествования держится не сюжетом — сюжет у Рериха прост и безыскусен, — а внутренним переживанием, мыслью, которая неотступно владеет героями рассказа. Сказка Рериха приближена к нравственно-философской притче, но она лишена категоричности поучения, столь свойственной притче. Назидательные ноты смягчены лиризмом повествования, поэтической недосказанностью.

Мысль не скользит по поверхности, она устремляется вглубь, стараясь раскрыть новые стороны жизни, не всегда заметные с первого взгляда. Умудренный опытом Гримр-викинг из одноименной сказки Рериха заявляет, что у него нет друзей. Заявляет вопреки очевидности. Соседи хором возражают ему: тот выручил Гримра в беде, тот спас его в минуты опасности. Но Гримр настаивает на своем и проясняет сказанное: "У меня не было друзей в счастье".

"Все нашли слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили".

Так кончается сказка. Но этот конец — начало размышления читателя, перед которым поставлен вопрос и который — если он читатель думающий — не вправе отмахнуться от него.

Истинным своеобразием дышат белые стихи Рериха. В них нет еще той концентрической насыщенности мысли, которая свойственна более поздним его поэтическим вещам. Но в них есть неожиданная (а для кого-то, может быть, парадоксальная) интерпретация хрестоматийно известной темы, как, например, в стихотворении "Вождь", представляющем собой возвышенное предание о Чингиз-хане. Но в них — а именно в стихах "Заклятие" — есть попытка путем медитативного размышления проникнуть в существо той вести, что несут с собой таинственные имена, обожженные раскаленным ветром азиатских пустынь и степей.

По всей видимости, сказки Рериха выросли из его стихотворных опытов; неспроста они подчас разительно напоминают стихи не только характером содержания, но и напевностью и самой ритмической организацией материала. Во всяком случае, граница между сказками и белыми стихами Рериха зыбка и условна. Как бы подчеркивая это, он включает в поэтический сборник "Цветы Мории" легенду "Лаухми Победительница" ("Лакшми Победительница"), помещенную в первом томе. Он лишь изменяет ее графический рисунок, разбивая текст на стихотворные строчки. Выясняется, что легенда была поэмой, временно заключенной в прозаическую форму.

Устремленность жизни Рериха уже в самом начале его пути predetermined интерес к проблемам художественного творчества. Личность творца, характер его миссии, его нравственный облик становятся одним из главных предметов пристального внимания Рериха.

Творческий дар — дар необычный. Ом несопоставим с любыми другими дарами жизни. В "Детской сказке" руки царевны домогаются многие претенденты. Знатным именем похваляется князь древнего рода, громкой славой соблазняет ее воевода, безмерные богатства сулит ей гость заморский. А что же предлагает певец? "Веру в себя". И царевна, у которой мудрое сердце, принимает верное решение. "Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с высокой горы смотреть на восход!"

"Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему Бог не открыл хитрости живописной", — заявляет один из персонажей исторической новеллы "Иконный терем", старик изограф. В этих словах — не гордыня, а понимание значимости своего труда, утверждение личности художника, которому в описываемое время (действие происходит в царствование Алексея Михайловича) приходилось униженно ломать шапку перед тем же самым боярином.

Пожалуй, ни в одной литературной вещи Рериха так не чувствуется художник, как в новелле "Иконный терем". Ярко и красочно, с тонким знанием деталей воспроизведена внешняя обстановка иконной мастерской; тщательно выписан даже орнамент на двери, даже покроя одежды.

Но не только внешние реалии воссоздаст автор. Он воссоздаст ту духовно-нравственную атмосферу, в которой рождались шедевры русской живописи. В словах мастера, обращенных к своим слушателям, — для вящей убедительности он использует постановление Стоглавого Собора — живет великая забота о высоком уровне искусства.

"Не всякому даст Бог писати по образцу и подобию и кому не даст — им в конец от такового дела престати, да не Божие имя такового письма похуляется. И аще учнут глаголасти: "мы тем живем и питаемся" и таковому их речению не внимати. Не всем человекам иконописцем быти: много бо и различно рукодействия подаровано от Бога, им же человеком пропитатись и живым быти и кроме иконного письма".

В таком ответственном деле, как творчество, не может быть поблажек, ибо они наносят непоправимый ущерб. Вот почему так суровы Учителя искусства. В рассказе "Старинный совет", выдержанном в духе итальянской новеллы эпохи Возрождения, старый живописец говорит своему незадачливому ученику, который за долгие годы учебы так и не понял простой истины — лишь в самостоятельной работе раскрывается лик Прекрасного:

"Бенвенуто, выйди за двери и иди к сапожнику Габакуку и скажи: возьми меня мять кожи, я не знаю, что такое "красиво". А ко мне не ходи и лучше не трогай работы своей".

Вопрос о качестве — краеугольный камень не только для эстетики, но и для этики Рериха. Он убежден, что, казалось бы, сугубо специальный вопрос о качестве, об исполнении (как известно, формалисты придавали ему самодовлеющее значение) с неизбежностью перерастает в вопрос нравственный, имеющий непосредственное отношение к личности творца и его духовному миру. В одной из статей позднего периода жизни он напишет:

"Понявший строй жизни, вошедший в ритм созвучий, внесет те же основы и в свою работу. Во имя стройных основ жизни он не захочет сделать кое-как. Доброкачественность мысли, доброкачественность воображения, доброкачественность в исполнении — ведь это всё та же доброкачественность или Врата в Будущее".

Первый раздел книги носит весьма характерное название: "О старине моления". Собственно, это лейтмотив, которым пронизаны многие вещи Рериха: очерки, и новеллы, и сказки. Однако не стилизаторские тенденции влекут дух художника. И не предмет лишь ностальгии для него прошлое. "Когда указываем беречь культурные сокровища, — подчеркивает он, — будем это делать не ради старости, но ради молодости". Целая программа неотложных, немедленных действий сконцентрировалась в призыве, венчающем его путевые записки "По старине":

"...пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора людям, скусающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселою, красивою жизнью.

Пора всем сочувствующим делу старины кричать о ней при всех случаях, во всей печати указывать на положение её. Пора печатно неумолимо казнить невежественность администрации и духовенства, стоящих к старине ближайшими. Пора зло высмеивать сухарей археологов и бесчувственных педантов. Пора вербовать новые молодые силы в кружки ревнителей старины, — пока, наконец, этот порыв не перейдет в национальное творческое движение, которым так сильна всегда культурная страна".

Внимательно исследуя шедевры древнерусского зодчества, открывая для себя красоту работ неизвестных мастеров прошлого, Рерих приходит к выводу, имевшему большие последствия для всей истории нашей культуры. В том же очерке "По старине" он заявляет: "Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших примитивов, значение русской иконописи, поймут и завопят и захают. И пускай завопят! Будем их вопление пророчествовать — скоро кончится "археологическое" отношение к историческому и народному творчеству и расцветет культура искусства".

Сейчас, когда русские иконы украшают музеи всего мира, это кажется азбучной истиной. Но тогда, в начале XX века, это было неслыханной дерзостью. Предсказания художника воспринимались на уровне курьеза. Он вынужден вести настоящее сражение с эстетствующими критиками, вкусы которых целиком ориентированы на Запад: они-то и считали иконы серыми примитивами.

Конечно, Рерих был не единственным первооткрывателем древнерусского искусства. Но он первый посмотрел на произведения наших иконописцев под определенным, профессиональным углом зрения, он первый заговорил о великом эстетическом значении их труда. Тем самым был обозначен новый рубеж в отношении к культуре нашего прошлого. Взглядам людей открылся неведомый доньше мир, спрятанный в глубине веков. Впечатление было ошеломляющим. Современник Рериха искусствовед Яремич писал:

"Впервые мы услышали не сухое, отдающее затхлостью мнение археолога о предметах святых и дорогих, а живой голос художника, уяснившего нам подлинное значение старых городов и городищ, древних церковных росписей, и вдруг воскрес живой смысл памятников отдаленных веков. Воистину воскрес, потому что Рерих первый подчеркнул художественную сторону красот древнерусского искусства... И вдруг наше искусство, остававшееся так долго под спудом, озаряется солнечным светом... Отсюда вытекает естественный вывод о громадном значении для нашего существования труда наших предков. Не уныние, не меланхолию, не укор вызывает деятельность прошедших поколений, наоборот, она влечет к ликованию и радости".

Но вот что важно отметить. Охрану памятников старины Рерих не считал изолированным самодовлеющим мероприятием. Этот вопрос он связывал с другим, не менее важным — охраной исторических пейзажей, созданием заповедников природы.

"Не нужно, чтобы памятники стояли мертвыми, как музейные предметы, — говорил он. — Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, в котором он красовался в былое время, — хоть до некоторой степени возвратите! Не застраивайте памятников доходными домами; не заслоняйте их казармами и сараями; не допускайте в них современные нам предметы... Не опасаясь педантичной суши, пойдет молодежь к живому памятнику, заглянет в чело его, и мало в ком не шевельнется что-то старое, давно забытое, знакомое в детстве, а потом заваленное чем-то, будто бы нужным".

Эту мысль Рерих потом усилит, он будет предостерегать от опасностей чрезмерного увлечения индустриальным гигантизмом. Со щемящей болью в сердце он напишет: "Всякий клочок природы, впервые подвергающийся обработке рукою человека, непременно должен вызывать чувство, похожее на впечатление потери чего-то невозвратимого".

Но, как отчетливо видим сегодня, Рерих оказался далеко впереди своего времени. И оно, увы, не вняло его призывам и предостережениям. Лишь немногие сумели понять художника. Такие, как, например, Горький, который назвал Рериха "величайшим интуитивистом современности".

Надо сказать, что в книге четырнадцатого года как бы намечен, как бы угадан героический маршрут дальнейшей жизни Рериха. Очерк "Индийский путь" завершает следующая выразительная сцена:

"К черным озерам ночью сходятся индийские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. Вызывают из воды священных черепах. Их кормят. В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают.

Живет в Индии красота.

Заманчив Великий Индийский путь".

То, о чем мечталось, художник увидит впоследствии наяву. Сцена, нарисованная в его воображении, оживет и материализуется в синих умиротворяющих красках картины "Огни на Ганге". Трудные водные и горные преграды преодолет он, прежде чем поселится у подножия высочайших вершин планеты. Здесь на склоне лет, подводя итог жизни, он запишет в своем



дневнике: "Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи". Гималаи станут завершающей точкой земного пути Рериха. На месте его кремации ныне высится камень с величественной и строгой надписью, гласящей о том, что здесь было предано огню "тело великого русского друга Индии Махариши Николая Рериха. ОМ РАМ (Да будет мир!)"

Валентин Сидоров

*Жене мой*

Кто хоть немного соприкасался с археологией и хоть один раз побывал на раскопке, тому ведомо, насколько увлекательно это дело. Обычное по сему предмету острословие: "археология — мертвечина! Пыльная наука — археология! Гробокопатели! Вампиры! Прозаики! Мумии!" — особенной остротой, боюсь, не отличается.

— Помилуйте, слышу, это до России, пожалуй, не относится; у нас-то какая же археология, разве кроме степей? Хорошо и прилично говорить об археологии в Греции, в Италии, наконец, на нашем Юге и Востоке, а здешние меланхлены и гипербореи вряд ли оставили после себя что-либо занимательное!

— Да ведь всякая местность, мало-мальски пригодная для жилья, имеет свою археологию, будет ли это Киевская, Новгородская или Петербургская губерния...

— Что такое? Скажете, что и Петербургская губерния тоже даст пищу для археолога? Подите вы! Я понимаю говорить о раскопках в Помпее, Азии, в степях, на худой конец в Новгороде — все-таки варяги там, что ли, но раскопка Петербургских курганов, да это даже не принято как-то! Точно на свалке сардинные коробки вырываете! Неужели и здесь что-нибудь может находиться? Пожалуй, одни шведские пуговицы, потерянные в петровское время!

Действительно, зачастую древности С.-Петербургской губ. или древней Водской Пятины Новгорода пользуются в обиходе репутацией довольно сомнительной; всякий археологический памятник этой местности, о котором уже трудно сказать, что это случайная груда камней или естественное возвышение, относится ко времени шведских войн. Древние кресты Новгородского типа, обильно встречаемые на полях — шведские. Курганы — шведские могилы; городища — "шведские шанцы". Словом, все, что несомненно принадлежит древности, — все шведское, хотя на самом деле вовсе не так.

Шведский, петровского времени, элемент играет самую последнюю роль среди древностей Водской Пятины (СПб. губ. тоже). Никто шведскими древностями этого периода не занимается и никакого интереса они представить не могут. И без них материала более чем достаточно, материала важного и поучительного. Главный контингент местных древностей составляют памятники от X до XV вв. Подробности древнерусского обряда погребения и анализ найденных в курганах предметов позволяют без большого колебания отнести эти древности к новгородским пограничным славянам. С севера давила на них Чудь и Ижора, финские племена, сидевшие на Неве и по Приладожью; на западе они граничили с Финской Емью (эстами), на северо-западе с небольшим, родственным эстам и тавастам, племенем Водью, давшим название всей Пятине. В настоящее время Водь и Воддьялайзет занимает небольшое число селений в районе Петергофского уезда.

Древности эстов разработаны довольно хорошо, как и вообще все остзейские. Памятники Ижоры известны в весьма скудном количестве; а водские древности пока еще не установлены. Некоторые исследователи приписывают все местные древности вожанам, но в сущности тип водских погребений еще не известен и может быть выяснен только новыми изысканиями. Водь — племя невеликое, никогда в истории не выступавшее в сильной роли. (В 1149 году отряд Еми в 1000 человек нападает на Водскую землю, и Водь может с ним справиться только при помощи

новгородцев.)

Славянское соседство, кстати заметить, всегда оказывало на финнов сильное влияние, и притом влияние доброе, из летописи Генриха Латыша знаем, что когда священник Альбрандт был послан с дружиною и рыцарями в Ливонию с предложением народу принять святое крещение, то народ ливонский бросил жребий и спрашивал у своих богов, которая вера лучшая — псковская или латинская. Народ, очевидно, предпочел псковскую, т. е. православную, и только из страха принимал крещение от западного духовенства.

Для полных заключений о С. — Петербургской губернии нужны еще новые археологические изыскания, преимущественно в пределах Петергофского уезда; хотя цифра исследованных древних погребений СПб. губ. достигла солидных размеров и превышает 6000, но этим все же нельзя ограничиться. [\[1\]](#)

Среди местных исследователей первое место заслуженно принадлежит ныне покойному прозектору Военно-Медицинской Академии Л. К. Ивановскому, производившему раскопки от 1872 до 1892 г., остановленные его смертью.

Из других раскопок в СПб. губ. надо отметить раскопку Волховских сопок, произведенную Н. Е. Бранденбургом. Волховские сопки — это древнейшие курганы края; время их, судя по найденным в них предметам, относится к IX и VIII вв. Самые большие сопки имеют в вышину 4–5 сажен. Затем в Лужском и Гдовском уездах производились раскопки г. Шмидтом, Мальмгреном, слушателями археологического института и некоторыми другими.

Находками отдельных вещей СПб. губ. пока не богата. А. А. Спицин указывает некоторые наиболее важные: в 1875 г. были найдены при д. Княжнино, Ново-Ладожского уезда, вместе с сассанидскими, умейядскими и табаристанскими монетами VI–IX вв., 3 серебряные монетные слитка. В начале нынешнего столетия был найден громаднейший клад арабских монет на берегу Ладожского озера. Куфические монеты VII–X вв. были находимы в Галерной гавани, в Старой и Новой Ладоге, около Ропши, и в некоторых других местах. В Старо-Ладожской крепости была найдена золотая куфическая монета 738 г.

Находки каменного века в СПб. губ. тоже не многочисленны и приурочиваются к побережью Ладожского озера [\[2\]](#) и долине р. Луги.

Местонахождение курганов, исследование которых, таким образом, представляет главную работу, находится, конечно, в связи с местом древних поселений, в свою очередь обусловленным характером местности, изрезанной непригодными для жилья моховыми болотами (прежде озерами). Главные поселения, оставившие нам обильнейшие курганные поля довольно разнообразного содержания, были расположены на ровном суходоле между Царским Селом и Ямбургом; это плоскогорье проникает в долину р. Луги, соприкасается с песчаными лесистыми верховьями р. Оредежи (Сиверская) и не доходит верст на 10–20 до побережья Финского залива. Это в северной части губернии. В южной, более возвышенной, занятой не только новгородцами и псковичами, немало удобных для поселения мест в системе озер Вердуга, Сяберское, Черемнецкое, Чернозерское и др. [\[3\]](#)

Состояние и внешний вид местных курганов не одинаковы. То огромными полями, поросшими мелкой ольхой и орешником, многими сотнями сплошь унижают они десятки десятин, то небольшими группами (5 — 20), или одиноко маячат они посреди пашни; иной раз представляют они свежие, крепкие, словно вчера сложенные конусы до 2 саж. с высокой вершиной и правильной, резко обозначенной каменной обкладкой основания, в других же случаях вершина оказывается глубоко осевшею — сама насыпь осунулась, пригорюнилась или же представляется только небольшим неправильным расплывшимся возвышением, так что работники отказываются разрывать его, уверяя, что это крот нарыл. Проезжая по деревням, нередко приходится ехать по каким-то еле приметным буграм и только заезженное каменное

кольцо основания напоминает об исчезнувшем кургане. Многие насыпи поросли лесом, деревья насквозь пронизали их своими корнями; невольно вспоминаются курганные сосны при деревне Черная (Царскосельского уезда): коренастые, любовно обняли они насыпи своими мощными корнями. Сосны эти хранятся преданием, что на смельчака, отважившего рубить одну из них, напала "трясучка".

Почти возле каждой деревни можно отыскать большую или меньшую курганную группу, но, несмотря на их обилие, расспросить о них у местных крестьян подчас не легко — надо узнать излюбленные ими выражения; если вы вместо "старой кучи" спросите о кургане или бугре, то вас ни за что не поймут. Однажды, вместо городка, я спросил городище — и от присутствия его немедленно отказались. Среди местных названий курганов особенно употребительны: сопка, каломище (финское *calm* — погребальный холм), старая куча, шведская могилка, бугор, гора, колониетское кладбище (если погребения без насыпи). Эсты укажут вам курганы, если спросите *vana aui*, старую могилу.

## II

В мае, как засеются яровыми, можно приниматься за работу. Подается соответствующее прошение в Императорскую археологическую комиссию; в ответ на него получен открытый лист. Сбрасывается тесный городской костюм; извлекаются высокие сапоги, непромокаемые плащи; стирается пыль и ржавчина со стального совка с острым концом — неперменного спутника археолога.

Прежде самой раскопки надо съездить на разведки, удостовериться в действительном присутствии памятника. Не полагаясь на сведения разных статистик, перекочевываете вы от деревни до деревни на "обывательских" конях с лыком подвязанными хомутами и шлеями. Всматриваетесь буквально во всякий камешек, исследуете подозрительные бугорочки, забираетесь в убогие архивы сельских церквей; подчас, ко всеобщему удовольствию, делаетесь жертвой какой-нибудь невинной мистификации. Местами вас встречают подозрительно:

— Никаких, ваше высокоблагородие, исстари древних вещей в нашей окрестности не предвидится. Все бы оно оказывало.

— Сами посудите, барин, откуда мужику древние вещи взять? Ни о каких древних вещах здесь и не слыхано.

Если же вы пришли по нраву, оказались "барином добрым", "душой-человеком", то вам нечего будет принуждать к откровенности собеседника. Вечером, сидя на завалинке, наслушаетесь вы любопытнейших соображений, наблюдений естественнонаучных, поверий, наивных предположений. Сперва из осторожности прибавят: "так зря болтают" или "бабы брешут", а потом, видя ваше серьезное отношение, потечет свободный рассказ о старине, окладах, о лихих людях-разбойниках. Но не дай Бог попасть в руки книжного волостного писаря или словоохотливого попа; тут каждое дельное сведение придется покупать ценою выслушивания бесконечных замысловатых повествований:

— По одну сторону речки-то полегло славянство — гвардия, народ рослый, а по другую-то — мордва и черемисы. Черепа недавно еще находили. А вот в Лохове не так давно были ступени плитные древнейшего храма языческого, а поблизости нашли сруб, из него разные предметы добывали. В настоящее время ступени выломаны на плиту, а сруб завален камнями — известно: дурак народ!

— Степи! Степи! — восклицает другой, — знаете ли вы, господа археологи, откуда степи взялись? Неужто так и сотворил Господь Бог плешину на лоне земном? Изволите видеть этот

пол? Вот окурки, вот крошки, вот лепешка из-под каблука, и везде пыль. Беру я теперь эту метлу и провожу по полу — ни окурков, ни грязи не бывало. Провожу еще раз — крошки исчезли. Махнем в третий — и пыли не видно, разве где по щелкам забралась — по овражкам кустики. Идут это по земле гуннские народы; идут еще... готты, вандалы! Невесть кто идет: и печенеги, и половцы, и татары; чище всякой метлы или щетки отполируют, выскребут на удивление, — пылинки в щелке не оставят, кустика не увидишь! И кого только не носила мать сыра земля. Много, как говорится, не снилось мудрецам! Столько сокрыто в недрах земных; вот хоть бы сопки, что подле Заполя, на самых огородах, скажу, довольно достопримечательные, вещицы находили там очень фили... фи-ли... как это говорится-то?

— Филиграновые или филистерские?

— Вот, вот именно!

— Да, занятное дело — старинное время, — повествует третий, — все то разгадать, все то произойти! Как вы полагаете, что такое райское блаженство будет? Это, как вам сказать, вечное беспрепятственное познание, недоступное для нас в настоящей суетной жизни. Одни-то будут познавать — наслаждаться, блаженствовать, а другие-то зубы на полку, что на земле узнали, того и хватит. Коли ваше желание будет, интересное местечко могу я вам указать. Извольте ли вы знать городок подле Селищенской деревни — ну, просто скажу, бугор, такой не малый. А рядом с ним и сопочка кругленькая, на восточную сторону. Жил в этом городке задолго когда-то князь не князь, а князек. Была дочка у него красавица. Красавица такая — теперь таких и не найдешь! Известное дело, нонче какой народ пошел — мозгляк! Прежде не то было — богатыри, что твой Илья Муромец. Только, не знаю с чего, возьми заболей красавица эта, да и отдай Богу душу в этом самом городке. Ее похоронили знатно. Ведь и тогда небось франтихи были, что и теперь. А князек-то не пожелал больше в этих местах жить. Сопочка-то подле самого бугра, еще ручей Черченом называется...

Повыудив, что можно дельного, изю всех подобных рассказов, вы приступаете к самой работе.

### III

Грудой почерневшего леса и побурелой соломы раскинулась невеликая деревенька. Часа четыре утра. Петухи перекликаются. Пастух затрубил — выгоняют скотину. В сенях, слышно, вздувают самовар; кто-то пробежал босыми ногами. Староста — у него вы остановились — будит вас. Стекла запотели — свежо на дворе. Зубы самовольно выстукивают что-то воинственное. Вы вздрагиваете — умываясь холодной водой. Народ уже собрался. Ломы, кирки, лопаты, топоры — необходимые раскопные снаряды, — все в исправности. Потянулась шумная гурьба к курганам, что раскинулись невдали от жилья. Небо без облачка. Из-за леса сверкает солнышко. Приятно бодрит студеный утренник.

Весело!

Из деревни много люду идет за нами сами по себе — посмотреть. Авангард мальчишек на рысях далеко впереди. Не знаю, какое другое дело возбуждает такое же неподдельное любопытство, как раскопки и рассказы о древностях. Ни горячая страда, ни жара, ни гроза — ничто не осилит его.

Пока идет незанимательная работа вскрытия верхней части насыпи, говор гудит не переставая.

— Слышь ты, тут шведское кладбище!

— Ну да, известно, не русское; русские так не хоронят.

— Дядя Федор, — толкает бойкая, задорная девка-копальщица, — здесь колонисты?

— Вот я те выкопаю колониста, в аккурате будешь!

— Что-й-то тут, испытание никак? — шамкает древний дед, пробираясь в толпе.

— Слышь, дедушко! Котел нашли с золотом. Каждому мужику по 100 рублей выдавать будут, а деду не дадут.

— Это дедке могилу копают, — толкает деда баловница девка, — и ложись, дедка, тут тебе и поем!

— Эх, эх, и нас то, поди, раскопают. Косточкам-то успокоиться не дадут!

— Так не найдете, — советует пожилая баба, — в Семкине солдатский доктор бугры перекапывал, так у него живое серебро было. Наставит он его на могилу, оно побежит побежит да и станет, и где станет, там и копай. И всегда находили.

— Да что находили-то, дура баба, разве дельное. Одну только серебряную цепочку нашли! В стороне слышится тихий разговор.

— В Красной одного сидячего нашли; рядом ложка чугунная положена и ножик. В головах-то горшок.

— Только поужинать собрался, а тут его и накрыли!

— В Хлебниковой даче мост оказался через Ржавую мшагу, на сажень его туда засосало. Слышно, там война шла. Вот потопнуть-то можно...

— А вот мы заправду чуть не потопли. Приходит ко мне это раз Васька Семенов; слышь ты, говорит, нашел я сопку у Вязовки, невдали от Княжой Нивы. Кругленькая, хорошая сопка, и огонек по ней порхает. Клад — беспрременно. Собьем-ка артель, да раскопаем. Вдвоем-то неспособно: и сопка-то больша, в сажень казенную будет, да, пожалуй, и страхи пойдут. Ладно! Сбили мы артель, пошли. Сопка правильная и от речки недалеко. И насыпана она неспроста: кругом выложена камнем, сверху песок да земля; потом прутняк — уже перегной. За ним хвоц да гнила. Дерево сгоревшее и негорелое. Видим — уже грунт показался. Васька щупом хватил вниз — слышит грох — дерево, значит. Хватил правее — звякнуло что-то, значит, близко. Свечерело уже. Только смотрю я, сочится с боков вода и снизу точно проступает. Васька и Федор нагнулись, руками щупают, — нащупали дерево, тянут наверх — не идет, будто держит его. Еще потянули, глядят — старая-престарая доска — сопревши вся. И хлынула из-под той самой доски вода. Ключ открылся; пошла садить; уж не то что клад — сами-то рады из ямы выбраться. Ударишь щупом — звякает что-то, котел, что ли!

— Так и не допустила вода?

— Еще бы тебе допустить! Оно ведь тоже заклятье какое положено! Вот в Березовском пруде золотая карета <sup>[4]</sup>да 5 стволов золота опущено, старики в ясные дни еще видали чуть-чуть! А поди-ка вытащи. Всем знатно, а не взять, потому заклятье, зарок.

— А вот Петра из Красной, тот так взял клад.

— Поди ты, взял, брешет твой Петра; может, он и нашел чугунный старый, что пастухи бросили, да только...

— Да что только-то, ведь не сам он, а дельные люди сказывают, что и впрямь взял.

— Пуще разбогател Петра, как и не у нас грешное тело из локтей смотрит. Богатей!

— В прок ему не пошло, значит — зароку не знал.

— Господин, евося будто косточка под лопатой оказывает, — докладывает один из копальщиков.

Спускаюсь в яму. Пахнуло свежерытой землей; посвежело после припека, — солнце уже высоко. Действительно, из-под лопаты торчит желто-бурая берцовая кость; торчит среди такого же точно песка, как и вся масса насыпи, словно бы она всегда была только костью без верхних покровов.

Кость вполне определила положение костяка. Работа пошла осторожней. Обнаружились руки, сложенные у лонного соединения. Предплечье окислилось, позеленело — признак близости бронзы, которая и оказывается в согнувшейся тонкой, витой браслетке.

— Бруслетка! Смотри-ка, эка штучка-то аккуратная! Тоже изделие! — проносится среди любопытных, и, давя друг друга, вся ватага устремляется к кургану, жметя к вершине.

В яме потемнело. Зола, на которой лежат кости, кажет синее: строже глядит череп земляными очами. Нижняя, удивительно развитая челюсть далеко отвалилась с осевшей землею в сторону. По бокам черепа показались височные кольца добрых вершка два по диаметру.

Летят комки земли. Мужские костяки чередуются с женскими. Долихокефальные черепа сменяются брахикефальными. Вместо копий, топоров, мечей, ножей, умбонов, щитов, являются гривны, серьги, браслеты, кольца, бляшки, многоцветные бусы, остатки кос. Полное трупосожжение уступает место погребению в сидячем положении. Высокие курганы заменяются жальничными клетками (погребение в могиле без насыпи). Разнообразие нескончаемое!

Щемяще приятное чувство первому вынуть из земли какую-либо древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно прошедшей. Колеблется седой вековой туман; с каждым, взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается перед вами заманчивое тридцатое царство; шире и богаче разворачиваются чудесные картины.

#### IV

Словно бы синей становится небо. Ярче легли солнечные пятна. Громче заливается вверху жаворонок. Привольное поле; зубчатой стеной заслонил горизонт великан лес; встал он непроглядными крепями, со зверьем — с медведями, рысями, сохатыми. Стонут по утрам широкие заводья и мочежины от птичьего крика. Распластались по поднебесью беркуты. Гомонят журавлиные станицы, плывут треугольники диких гусей. Полноводные реки несут долбленные челны. На крутых берегах, защищенные валом и тыном, с насаженными по кольям черепами, раскинулись городки. Дымятся редкие деревушки. На суходоле маячат курганы; некоторые насыпи поросли уже зеленью, а есть и свежие, ровные, со стараньем обделанные. К ним потянулась по полю вереница людей.

У мужчин зверовые шапки, рубахи, толстые шерстяные кафтаны, по борту унизанные хитрым узором кольчужным, быть может ватмалом <sup>[5]</sup>.

На ногах лапти, а не то шкура, вроде поршней. Пояса медные, наборные; на поясе все хозяйство — гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож не простой — заводной работы; ручка медная, литая; кожаные ножны тоже обделаны медью с рытым узором. А другой, ничего что мирное время, и меч нацепил, выменянный от полунощных гостей <sup>[6]</sup>.

На вороту рубахи медная пряжка. Пола кафтана тоже на пряжке держится, на левом плече; кто же побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит.

На предплечье изредка блестит витой медный браслет. На пальцах перстни разные, есть очень странного вида, с огромным щитком, во весь сустав пальца. Заросли загорелые лица жесткими волосами, такими волосами, что 7–8 веков пролежать им в земле нипочем. А зубы-то, зубы — крепкие, ровные.

На носилках посажен покойник, в лучшем наряде; тело подперто тесинами. В такт мерному шагу степенно кивает его суровая голова и вздрагивают сложенные руки. Вслед за телом несут и везут плахи для костра, для тризны козленка и прочую всякую живность. Женщины жалостно воют. Почтить умершего — разоделись они; много чего на себя повешали. На головах



кокошники, венчики серебряные с бляшками. Не то меховые, кожаные кики, каптури, с нашитыми по бокам огромными височными кольцами; это не серьги, — таким обручем и уши прорвешь. Гривны на шее; иная щеголиха не то что одну либо две — три гривны зараз оденет: и витые, и пластинные: медные и серебряные. На ожерельях бус хоть и немного числом, но сортов их не мало: медные глазчатые, сердоликовые, стеклянные бусы разных цветов: синяя, зеленая, лиловая и желтая; янтарные, хрустальные, медные пронизки всяких сортов и манеров — и не перечсть все веденецкие изделия. Еще есть красивые подвески для ожерелий — лунницы рогатые и завозные крестики из Царьграда и от заката.

На груди и в поясу много всяких привесок и бляшек: вместо бляшек видны и монеты: восточные или времен Канута Великого, епископа Бруно. Подвески-собачки, знакомые чуди, ливам и курам; кошки — страшные с разинутой пастью, излюбленные уточки, ведомые многим русским славянам. У девок ниже пояса на ремешках спускаются эти замысловатые знаки, звенят и гремят на ходу привешенными колокольчиками и бубенчиками; священный значок хранит девку.

На руках по одному, по два разных браслета, и узкие, и витые, и широкие с затейливым узором. Подолы рубах, а может быть, и ворот обшиты позументиком или украшены вышивкой. У некоторых женщин накинут кафтанчик, на манер шушуна, но покороче.

Опустили носилки. Выбрано ровное местечко, убито, углажено, выложено сухими плахами. Посередине его посажен покойник; голова бессильно ушла в плечи, руки сложены на ноги. Сбоку копье и горшок с кашей. Смолистые плахи все выше и выше обхватывают мертвеца, их заправляют прутняком и берестой — костер выходит на славу. Есть где разгуляться огню! Зазмеился он мелкими струйками, повеяло дымом. Будто блеснуло из полузакрытых век, в последний раз осветилось строгое, потемневшее лицо... Вдруг щелкнуло. Охнул костер, столбом взлетели искры, потянулись клубы бурого дыма.

Загудела протяжная, тоскливая погребальная песня. Отпрянул в сторону ворон, зачуявший смрад горелого мяса. Важно и чинно уселись кругом именитые родичи, понутив на посохи седые головы. За ними столпились другие, пока весь костер не обратится в кучу углей и золы с черными пятнами жира в середине. Тогда заработают заступы, понесут землю и пригоршнями, и подолами. Втроем, вчетвером покатыят к кострищу немалые валуны гранитные; их много по окрестной равнине, серые, бурые, красноватые, всяких размеров — дары Силурийского моря. Обровняли края кострища, чтобы представляло оно довольно правильный круг. В былых ногах и головах ушедшего к предкам, ставшего чуром блаженным, кладутся особо большие дикие камни, и приходятся они всегда на восход и закат, ибо лицо умершего всегда обращалось в священную сторону, откуда весело кажется миру вечный могучий ярило — красное солнышко, от него идут блага тепла, а с ним плодородия.

Быстро растет возвышение; насыпь сыплют не из разной, какой попало, земли, с кореньями, с сорными травами, а из чистого песка или плотного суглинка. Если же захотят на вечные века сохранить память о родиче — не поленятся весь погребальный холм сложить из дерновой земли. Наносят воды из соседней реки, смочат его, так уплотнят, словно бы чуют, что когда-то чужие ломы и кирки будут добираться до родного праха. Но дерновая насыпь может постоять за себя; вместо широкой реки с ярами и обрывами, чуть приметная сухая ложбинка; свалился старик бор, а насыпь все победно держит высокую вершину, будто чур ходит за ней, бережет ее <sup>[7]</sup>.

Сложили насыпь, аршина в два вышиной. Довольно. Пеплом еще засыпали, принесли его с собой из дому; от родного очага не отлучился бы чур-домовой. Сверху еще землей забросали, выровняли правильный конус, поправили валуны в основании, чтобы одинаково торчали. Заботливо обошли кругом, разок посмотрели.

Готово!

В почерневшее вечернее небо, в косматые облака опять понеслись струи бурого дыма; заблестели яркие точки костров. Идет тризна. Заколот козленок, над огнем медные котлы повешены. Поминают родича и досидят, пожалуй, пока и месяц из-за леса глянет и светом своим заспорит с кровавым пламенем. Страшней и мохнатей кажутся волосатые лица, жиром блестящие бороды, губы и мускулистые руки. Звенят о кости ножи, брякают черепки горшков, — опять, теперь в ночной тишине, вдаль потекла поминальная песня.

Блестит заходящий месяц на рукояти меча, сверкает на бусах и гривнах; мутными пятнами рисуются белые рубахи уходящих домой поминальщиков. Не умрет добрая слава покойного! Где же ей помереть? Велик его род; вечно будет от времени до времени правиться тризна; не забудут досыпать осевшую насыпь! Реют, неслышно спускаются на остатки еды, на козлиные кости вещи вороны, и они справят тризну.

## V

Из-под облака все видит ворон; смотрит поверх высокого тына городка, что торчит на соседнем бугре. Светлой лентой извивается быстрая речка, один берег ровный, покрытый сочной травой и чащей, другой берег высокий, к реке спуски крутые, обвалы, — песчаные и глинистые оползни! В речку впадает студень ручей, тоже не маленький. Слили они, с двух сторон, охватили вплотную продолговатый холм, вышина его по откосу сажени 4–5. В редком месте природа создает такую искусную защиту! На этом холме и поставили город. Отсчитали от мыса шагов сотни две, перерыли холм канавой, рвом — землю сложили валом; на валу тын поставили из славных рудовых бревен; концы обтесали, натыкали на них черепа звериные, а то и людские на устрашение врагу! По углам срубы поставили, покрыли их соломой и речным тростником. Состроили вышку — смотреть и наблюдать за вражьими силами или чтобы поднять на ней высокий шест с привязанным пучком зажженной соломы, окрестность оповестить об опасности. Город — место военное, в мирное время тут не живут. Видел ворон и другое! Видел, как пылал тын города, шла сеча! Грызлись и резались насмерть! Напрасно варом кипящим обливали напавшую рать; город пал! Помнил это ворон — пировал он тут сыто.

Пировал он также остатками богатой яствы, что бывала на лесных холмах, далеко от жилья, куда собирались люди молиться, приносить жертвы богам. Уже и кресты были на шеях, а все посещались давние излюбленные места [\[8\]](#).

И клады знакомы воронам! Не найдешь их, коли тебе неведомы древние книги и записи, что о них говорят. Писали те книги старые люди. Клады лежат по укромным местам. Знают наказы о кладах не только вороны, но и многие старые люди, а кладов все не найдут. Верно. Положен на них кровавый зарок [\[9\]](#).

Видели вороны и дубы старинные, развесистые; собираются под ними окрестные люди вершить мирские дела; собираются и в праздники: сидят старики на могучих корнях. Молодежь ведет хороводы, в лес, за ближнее озеро несется:

Ой, дид, ладо...

Под Ивана Купалу ярко горит здесь купальский огонь, прыгают через него парами; освещает огонь эти пары на вечный союз. Исконный обычай [\[10\]](#).

Еще известны предания о провалившихся церквах, о землянках разбойников; в погосте Грызове, Царскосельского уезда, рассказывают, что основание существующей церкви положено Петром Великим, после какой-то стычки, собственноручно поставившим на этом месте деревянный крест. Как видно, и прозаическая С.-Петербургская губ. тоже занимается своей стариной, не говоря уже о прекрасных памятниках екатерининского и александровского

Возвращаясь к курганам, нельзя не заметить, что в них особенно ярко отличаются два периода. Первый — XI–XII вв.; второй — XIII и XIV. Первый период характеризуется полным трупосожжением или погребением несожженного костяка в сидячем положении, причем подробности погребения мы уже видели.

В верхней части насыпи встречаются последовательные слои золы, иногда перемешанной с костями жертвенных животных; неизвестно, следы ли это погребального обычая, требовавшего переслойки золою насыпи во время самого ее устройства, или же это остатки тризны. Если только это следы тризн, то первоначальная величина насыпи со временем сильно выросла благодаря насыпанию свежей земли над золою. Насыпи с полным трупосожжением доходят до нас в виде полушаровидных, очень расплывшихся возвышений, со втянувшимися внутрь валунами основания. Погребение в сидячем положении даст довольно хорошо сохранившийся курган, но с осевшей вершиной, опустившейся при оседании костей.

Второй период (XIII и XIV вв.) характеризуется перемещением трупа в сидячем или лежащем положении в неглубокой грунтовой могиле. Чтобы сохранить для погребяемого требуемое обычаям положение, рыли небольшую овальной формы яму такого размера, чтобы труп мог поместиться в ней сидя, или складывали соответственную кучу камней, для этой же цели служили иногда и деревянные плахи. Труп забрасывался вынудой из ямы землей и песком, после чего образовавшееся небольшое возвышение посыпалось остатками поминок и углей, затем воздвигалась насыпь с каменным кольцом в основании, причем на в. и з. (в головах и ногах) помещались валуны особо большой величины, к этому же периоду должны относиться погребения выше материка и погребения в лежащем положении на поверхности земли, причем зольный слой основания перерождается в две зольные кучки по бокам головы. На верху курганов, описанных типов второго периода, нередко были поставлены каменные четырехконечные кресты так называемой новгородской формы.

В группах курганов XIII и XIV вв. встречаются погребения в грунтовых могилках без верхних насыпей; в ямах, окаймленных по краю линией валунов. Несомненно, что подобные каменные могилы (или, как их называет народ, могилы), есть перерожденные курганы.

Сделанные описания представляют собою только грубую схему, на деле же встречается разнообразие удивительное. Живо представляешь себе заботливые попечения родичей об умерших. Одни стараются отметить прах его особо великими валунами; другие выкладывают всю поверхность насыпи мелким булыжником, третьи, устраивая курган, сажают покойного на чурбан и подпирают его досками. Яркую картину рисует указанное Ивановским погребение, где рядом с мужским костяком оказался женский, на черепе которого была огромная рана, нанесенная топором, или встреченный мною случай, в котором мужской череп, покрытый старыми боевыми рубцами, был просечен, а по правую руку помещался женский костяк.

Сколько таинственного! Сколько чудесного! И в самой смерти бесконечная жизнь!

Предметы, найденные в курганах, мало отличаются от соседних земель, прибалтийских местностей в особенности, техникою, формою или разнообразием типов; однако мы видим живой обмен и можем установить существование промыслов.

Кроме вышеотмеченных предметов, надо упомянуть еще несколько подчеркивающих характер древнего обихода XI, XII вв. Пуговицы очень редки и все имеют обыкновенный тип, грушевидный с ушком. Пряслицы из красного шифера; по форме и материалу они совершенно

тождественны с таковыми изделиями курганов Днепровского бассейна. Вески, начиная с X века, попадают на широком пространстве.

В смысле окрестных аналогий, такой же обряд погребения, как и в Петербургской губернии, встречен в Псковской, Витебской, Смоленской, Новгородской и некоторых других губерниях. Из древностей, известных в Северной и Средней России, предметы, найденные в курганах Водской Пятины, имеют близкое отношение к находкам, обнаруженным в курганах Новгородской, Тверской, Костромской, Ярославской и Московской губерний. Нельзя не изумляться обильному присутствию древностей эстов, ливов, куров, чуди приладожской и финляндской, а также элементам восточному и скандинавскому.

В Новгородской области, с Поморья, вдоль берегов Балтийских губерний, по Волхову и Ильмену, шел великий водный путь торговый, путь дружин из "Варяг" в "Греки". Вспоминая постоянную восточную, цареградскую струю и приток с севера культуры скандинавской, становится ясным разнообразие культурных влияний в области новгородских славян, пожалуй, не уступающих в этом отношении югу, так что однообразного состава и единоплеменного происхождения нельзя и искать среди предметов из курганных насыпей С.-Петербургской губернии, исследование которых еще никак нельзя считать законченным; теперь остается детальная работа, выработка мелочей, усиливающих общую картину.

## VII

От кургана до кургана, от группы до группы перебираетесь вы. Та же благодушная толпа, те же прибаутки и шуточки. Солнопек сменяется прохладным дождиком. Чаше шумит ветер, дорога начинает бухнуть и киснуть; листья желтеют, облака висят над горизонтом сизыми горами — осень чувствуется. Лучшая пора для раскопки май, июнь до Иванова дня, до покоса, и затем август, после посева, и часть сентября.

Похудели тюбики красок, распухли альбомы и связки этюдов, наполнился дневник всякими заметками, описаниями раскопок, преданиями, поверьями; может быть, и песня старинная в дневнике записана, если только ей посчастливилось не изломаться на отвратительный солдатский и фабричный лад. Там же помянуто добрым словом фарисейство какого-нибудь представителя местной администрации в смысле охранения памятников старины; отмечено и разрушение интересных могильников при прокладке дороги. Много всякого материала, вырастают картины, складываются образы.

Пора к дому!

После чистого воздуха окунулись вы в пыльное купе вагона; едкий дым рвется в окошко; фонари и пепельницы выстукивают какие-то прескверные мотивы. Не веселят ни господин в лоценом цилиндре с удивительно приподнятым усом, ни анемичная барышня в огромной шляпе, украшенной ярким венком.

Тоскливое чувство пробирается в сердце.

Если существует ряд предметов, позволяющих нам хоть на минуту вынырнуть из омата обихода, заглянуть подалеке палат и повыше гигантских фабричных труб, то археология не может не иметь места в подобном ряду.

На Москве в государевом Иконном тереме творится прехитрое и прекрасное дело. Творится в тереме живописное дело не зря, как-нибудь, а по уставу, по крепкому указу, ведомому самому великому государю царю и государю патриарху. Работаются в тереме планы городов, листы печатные, исполняются нужды денежного двора, расписываются болванцы, трубы, печи, составляют расчеты, но главная работа — честное иконописное дело; ведется оно по разному старинному чину. Всякие иконные обычаи повелись издавна, со времен царя Ивана Васильевича, со Стоглавого собора и много древнее ещё — от уставов афонских.

По заведенному порядку создается икона. Первую и главную основу ее положит знаменщик и назнаменит на липовой или на дубовой доске рисунок. По нему лицевщик напишет лик, а долицевщик — доличное все остальное: ризы и прочие одеяния. Завершит работу мастер травного дела и припишет он вокруг святых угодников небо, горы, пещеры, деревья; в проскребку наведет он золотые звезды на небо или лучи. Златописцы добрым сусальным золотом обведут венчики и поле иконы. Меньшие мастера, левкачки и терщики, готовят левкас, иначе говоря, гипс на клею для покрытия иконной холстины, мочат клей, трут краски и опять же делают все это со многими тайнами, а тайные те наказы старых людей свято хранятся в роде, и только сыну расскажет старик, как по-своему сделать левкас или творить золото, не то даст и грамоту о том деле, но грамота писана какой-нибудь мудреной тарабарщиной. Подначальные люди готовят доски иконные, выклеивают их, выглаживают хвощом; не мало всякого дела в Иконном тереме и меньшему мастеру терщику, не мало и дьяку и окольничему, правящему теремное приказное дело. Шибко идет работа в тереме. А идет шибко работа за то, что великий царь всея Руси Алексей Михайлович подарил иконников окружную грамотою, сам бывал в тереме и часто жалует тщаливых мастеров своею царскою брагою да романею, платьем знатным и всякою прочею милостью. Но не только за царскую ласку идет живописное дело с прилежным старанием, а и потому, что дело это свято, угодно оно Богу, прияло честь от самого Христа Господа "аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати", почтется оно и от святых апостолов, и работают живописное дело люди всегда по любви, не по наказу и принуждению.

Утром, на восходе красного солнышка, от Китай-города из Иконной улицы, где живет много иконников, гурьбами, дружно идут на работу мастера, крестятся на маковки храмов кремлевских и берутся за дело. Надевают замазанные в красках да в клею передники, лоб обвяжут ременным либо пеньковым венчиком, чтобы не лезли в глаза масляные пряди волос, и творят на ногтях или на доске краски. Кто работает молча, насупясь, кто уныло тянет стихиры, подходящие под смысл изображения, иной же за работой гуторит, перекидывается ласковым либо спорным словом с товарищем, но письмо от таких разговоров порухи не терпит, ибо знает свое дело рука; если же приходится сделать тонкую черту или ографить рисунок прилежно, то не только спор замолкает, а и голова помогает локтю и плечу вести линию, сам язык старательствует но губам в том же направлении.

Не божественные только разговоры, а мирские речи ведут иконники и шутки шутят, но шутки хорошие, без скверного слова, без хулы на имя Господне и честное художество.

Собрались в тереме разные мастера: и жалованные, и кормовые, и городовые всех трех статей; на статьи делятся по своему художеству: иконники первой статьи получают по гривне,

мастера второй статьи по 2 алтына по 5 денег, а третьестепенные иконописцы по 2 алтына по 2 деньги. Кроме денег иконникам идет и вино дворянское, и брага, и мед цеженный, а с кормового да с хлебного двора яства и пироги.

Некоторые именитые изографы: Симон Ушаков, Богдан Салтанов и другие прошли не в терем, а в приказную избу Оружейной палаты — там они будут свидетельствовать писание новоприбывшего из Вологды молодого иконника и скажут про него изографы: навычен ли он писать иконное изображение добрым, самым лучшим письмом, а коли не навычен, то дьяк объявит неудалому мастеру, что по указу великого государя он с Москвы отпущен и впредь его к иконным делам высылать не велено, а жить ему на Вологде по-прежнему.

## II

Промеж работы ведутся разговоры про новую окружную грамоту. Сгорбленный, лысый старик изограф с картофельным носом, важно подняв палец, самодовольно оглядывает мастеров и твердит место грамоты — видно, крепко оно ему полюбилось:

— "...Тако в нашей царской православной державе икон святых писателие тщаливии и честнии, яко истинние церковницы церковного благолепия художницы да почтутся, всем прочим председание художникам да восприимут и кисть разноцветно употреблена тростию или пером писателем да предравенствуют". Не всякого человека почтит великий государь таково ласковым словом!

— Да так и во все времена было. Еще Стоглав велит почитать живописателей "паче простых человек".

— А что такое паче? Коли перед простым человеком шапку ломаешь, то перед иконником надо две сломать?

— И кто есть простой человек? Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему Бог не открыл хитрости живописной.

— Коли не твоего разума дело — не суесловь: всякому ведомо, что есть почитание иконописцев, честных мастеров. Почитаются они и отцами духовными, и воеводами, и боярами, и всеми людьми, — вступился старик и похваляется тем, что сам антиохийский патриарх Макарий челом бил государю на присылке икон, вот-де какво русское иконописание, а того не вспомнил старый, что патриарху иначе и негде было бы удобнее докучиться об иконах. Впрочем, это рукоделию московских изографов — не в укор сказано.

Говорят и дивуются мастера, как выходец шаховой земли изограф Богдан Салтанов поверстан по московскому дворянскому списку; такому делу, чтобы иконник верстался в дворяне — еще не бывало примера. О Салтанове голоса разделились: одни подумали, что пожалован он за доброе художество, другие подумали, что за принятие православной веры. От шахового выходца Салтанова заговорили и о прочих всяких иноземцах; вспомнили, как непочтительно отнесли некоторые из иноземцев к благословию патриарха и как за то патриарх разгневался и приказал им по одежде быть отличными от русских людей. Одни не прочь и за иноземцев, а другие на них, — зачем-де часто великий государь жалует заморских мастеров лучше, чем своих, а по художеству и свои, часом, не хуже взбодрят.

— Вон, поди, Лопуцкого мастера хвалили, нахвалили, а он того доучил, что сами ученики его челобитье подали, как мастер их живописному мастерству не учил. И была то не выдумка, а правда, после чего поотнимали у него учеников и отдали Даниле Вухтерсу. Особенно нападает на заморских мастеров длинный иконник, с ремненным венчиком на прямых льняных волосах; по его речи выходит, что нечего иноземцам потворствовать, коли своим жалованья не хватает, и

указывает он на Ивашка Соловья, иконника оружейной палаты, отставленного за скорбь и старость, и как скитался он сам-четверт с женишкою и с робятишки между двор, где день, где ночи, и наги, и босы, о чем и челобитье писал Соловей государю и просился хоть в монастырь поступить.

Но длинному возражают, на намять приводят, как государь и патриарх входят даже в самые мелкие нужды иконников, коли до них дело доходит:

— Так-таки и отписал патриарх: Артем побил мужика Панку, от воров боронясь, хотя бы и больше перерезал, от них боронясь, все же малая его вина.

— Что говорить, грех государю, коли об иноземцах паче своих брежение имеет, и свои государеву пользу блюдут накрепко: Ушаков как отрезал боярам сказал, что грановитые палаты вновь писать самым добрым письмом прежнего лучше или против прежнего в такое время малое некогда: приходит время студеное, и стенное письмо будет не крепко и не вечно. И ведь все думали, что переписывать осенью станут, а как Симон отрезал, так и отложили.

### III

Двери иконного терема висят на тяжелых кованых петлях, лапка петель длинная, идет она во всю ширину двери прорезная узором. Заскрипели петли — отворилась дверь, пропустила в терем старых изографов и с ними боярина и дьяка. Пришли те именитые люди с испытания. Сего ради дела изографы разделись в дорожную, жалованную одежду: однорядки с серебряными пуговицами, фрезы камчатные с золототкаными завязками, кафтаны куфтерные, охабни зуфные, штаны суконные с разводами, сапоги сафьяновые — так знатно разделись изографы, так расчесали бороды и намазали волосы, что и не отличишь от боярина.

На испытание вологжанин, крестьянский сын Сергушко Рожков, написал вновь иконного своего художества изображение, на одной доске образ Всемиловитого Спаса, Пречистыя Богородицы и Иоанна Предтечи. И по свидетельству московских изографов Симона Ушакова со товарищи, Сергушко оказался мастер добрый. Иконники окружают нового товарища, спрашивают, кто у него поручники, потому за новопринятого должны поручиться иконники бывалые, должны поручиться в том, что если Сергушко у государевых иконописных дел быть не учнет или сбежит или забражничает, и на поручниках пеня Государя Царя; спрашивают, откуда Сергушко родом; каково теперешнее художество на Вологде, как живут мастера вологодские, и слушают Сергушкины сказки.

Сергушко рассказывает, что Матвей Гурьев, иконник — обманом ушел из Знаменского монастыря с Вологды и живет на Тотьме, Агей Автомаков да Дмитрий Клоков устарели, Сергей Анисимов стемнел, а которые иконники сверх того есть, и те у государева иконного и у стенного и не у какого письма не бывают, потому что стары и увечны и писать никакого письма не видят и разошлись в мире для-ради недороды хлебные кормиться Христовым именем, ибо люди они старые, и увечные, и скудные, и должные. Слушают иконники невеселые вологодские сказки, глядят на старый кафтан Сергушкин; неуместен такой кафтан в светлом тереме, смешны заплатки при золототканых крутах. Помялись, потупились и опять спрашивают Сергушку, каким письмом пишут иконы по вологодским селам и глухим местам, не пишут ли там иконы с небрежением, лишь бы променять темным поселянам-невеждам? Хранят ли древние переводы? Об этом-де дал государь грозную грамоту, когда дошла до него весть о неискусных живописцах холуйских.

С окольным разговоривает только что вошедший в терем заморский мастер цесарской земли Данило Вухтерс; подошел он к боярину с низкими поклонами, хитро, выгибая тонко

обутые ноги, и говорит (толмач переводит), а смысл его речи такой, что только, мол, ради пресветлой неизреченной милости царя и многомилостивого и похвального жалованья решился он на трудную поездку в Московию; улаживается Вухтерс с боярином, сколько он будет получать жалованья; порешили: будет получать Вухтерс денег 20 рублей, ржи 20 четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, гороху две чети, солоду 10 четей, овса 10 четей, мяса 10 полоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 5 белужек да 5 осетров — набавили и напишут поручную, — будет Вухтерс учить русских мастеров писать мастерством самым мудрым.

Отошел боярин от Вухтерса и теперь решает с дьяком и с жалованными мастерами: откуда способнее вызвать иконников на время росписи Успенского собора, ибо для этой работы не хватит теремных и городских мастеров московских. Степенно приказывает боярин дьяку:

"Изготовь, Артамон, грамоту во Псков, чтобы сыскали по росписи и сверх росписи иконописцев всех, что ни есть: и посадских людей, и боярских, и княжеских, и монастырских, и торговых, и всяких людей, у кого ни буди, только чтобы стенном церковному письму прорухи не было".

Сыскать и вызвать мастеров надо неспроста, надо наоблюсти строгую очередь, иначе будут жалобы, что-де иным иконописцам в дальних волокитах чинятся многие убытки и разоренье, а других вовсе к стенному письму не емлют. Хорошим мастерам везде дело есть; добрыми мастерами всякий дорожит; с великим нехотеньем отпускают их в ненасытную Москву. Лишь бы сохранить иконника, и воеводы и даже духовные люди — игумены и архиереи — идут на обман, готовы сообщить в государев терем обложные сведения, нужды нет, что их уличат в бездельной корысти и шлют к ним самопальных с грозными указами, а святые отцы и государевы слуги все же покажут добрых мастеров в безвестном отсутствии и укроют их в монастырских кельях — уж такая всюду необходимость в истинствующих иконниках.

#### IV

— Смилуйся, пресветлый боярин, не дай вконец разориться! — пробирается к боярину ободранный мужичонко и, дойдя, кланяется земно.

— Докучаюсь тебе, боярин, о сынишке моем, иконной дружины ученике. Смилуйся, отец, на парнишку! Вконец изведет его мастер корысти ради, и грозы нет на него, потому и сбежать от него невозможно — больно велика пеня показана. Вот и список с поручной.

Дьяк принимает поручную; молча просматривает ее, сквозь зубы процеживает, "дожив своих урочных лет, не сбежать и не покрасть" и вполголоса читает боярину:

— "...а будет сын его Ларионов, не дожив урочных лет от меня пократчи сбежит, взяти мне в том Ларионе по записи за ряду двадцать рублей". Да, пеня не малая проставлена, уж пятнадцать рублей и то большая пеня, а двадцать и того несообразнее. А дело-то в чем? — спрашивает дьяк, недовольный, что судьбище будет при всех, при боярине, и не придется ему, дьяку, распорядиться с челобитчиком по-своему, по-приказному, и не будет ему, дьяку, никакой пользы.

— Бью челом на мастера иконного Терентия Агафонова, — зачистил мужичонка, — что взял парнишку моего в учение, и тому пошел без малого год третий, а живописному письму не учил, только выучил по дереву и по полотнам золотить. И ученье мастера этого негоже; учит он не в ученика пользу, а в свою; промеры телесные дает неверные, ни ографить, ни знаменить искусно, ничему не учил. А что парнишко напишет добрым письмом по своему разумению, и то мастер альбо похуляет, альбо показывает работою ученика иного, своего племянника, и моему



парнишке ни пользы, ни чести не выходит. И на том смилуйся, боярин, и пожалуй взять мне парнишку моего Ларивонку домой без пени! — кланяется мужичонка, а позади его выдвигается тощий человек в темной однорядке и, заложив руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начинает:

— И в учении Стоглавого собора в главе 43 сказано есть: аще кому не даст Бог такового рукоделия, учнет писати худо или не по правильному завещанию жити; а мастер укажет его горазда и во всем достойна суца и показывает написание инаго, а не того и святитель, обыскав, полагает такового мастера под запрещением правильным, яко да и прочий страх примут и не дерзают таковая творити. Сказано есть во Стоглаве, а посему повинен мастер Агафонов, что дружит ко своему племяннику и тем неправое брежение к Государеву делу имеет. Племяннику его не открыл Бог рукоделия, и коли Агафонов своею нелепою хитростью устроит племянника своего в Тереме, и на том Царскому делу поруха...

— А ты что за человек? — перебивает его дьяк.

— Он, значит, свояк мой Филипко; парнишку моего жалко ему. Ен, парнишко-то, добрый, да вот неудача в мастере вышла, прости, Создатель! А что Агафонов на племяннике на своем душою кривит — это точно, и племянник — от его живет бездельно, беспутно щапствует, а парнишко мой за него виноват.

— Челобитье твое большое и хитрое, — нахмуривается боярин (и нахмуривается не тому, чтобы жалел царское дело, а тому, что не скоро придется ему уйти из терема домой). — На народе негоже судиться, идите в Приказную избу; туда позвать и Терентия; он где работает? здесь? распорядился боярин.

— Терентий не в тереме сейчас пишет, а в пещерах от Красного крыльца.

— Посылайте за ним; пусть не мешкает, бросает работу и бегом идет в Приказ, — уходит боярин, с ним дьяк и челобитчики.

Иконники притихли; знают, что над товарищем стряслося недоброе, но знают и то, что недоброе это заслуженно, хотя не только Терентию, а и некоторым иным мастерам грозит та же гроза за дружество и милость к своим родным.

— Да, — решает Симон Ушаков, — а все знают, что Симон зря слова не скажет, — все то корысть, все то щапство, а любви к делу не видно. Продает Терентий хитрость свою живописную, богоданную, только о себе думает: и поделом ему, коли наложат на него прещение, и будет он сидеть без работы. Не завидуй, веди своего ученика честно, не криви душой, не укрывай таланта. Недаром не любили молодые Терентия!

Молчат иконники; многие понурили головы, глядят на работу, не поднимают глаз. Думается им: "хорошо говорить Симону, не все такие, как он", а в душе они уже не любят Ушакова, зачем он знатен в художестве, зачем все слушают его, зачем он говорит правдивое слово. Но, слава Богу, думают так не все, и больше половины искренно кивают головою Симону на добром слове его. Такими мастерами, как Симон, и держится живописное дело. Теперь не так скоро опять загудит говор, не так скоро усмехнется кто-нибудь. В полдень отобедают, отпаужинают, а там и до конца работы недолго.

В углу старый иконник — борода крупными куделями упала на грудь, нос сухой с горбинкой, глаза глубоко запали в орбитах, — протяжно ударяя на "о", поучает молодого:

— ...дали ему святую воду и святые мощи, чтобы, смешав святую воду и святые мощи с красками, написал святую и освященную икону. И он писал сию святую икону, и только по субботам да воскресеньям приобщался пищи, и с великим радением и бдением в тишине великой совершил ее... — "Что-то Оленка?" — мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысли, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно:

— Спаси Бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как

и они сами: толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги яко стульцы у каждого. И сами живут не истинно, не помнят, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и паче ж хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь тако пребыти до конца, то женись по закону и браком сочetaйся и приходи ко отцем духовным и во всем извещайся и по их наказанию подобает жити в посте и молитвах и воздержании со смиренномудрием, кроме всякого зазора, и с превеликим тщанием пиши образ Господа; да мнутя люди страстями телесными, ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвизайся кистию и словом добрым. Не всякому дает Бог писати по образу и подобию, и кому не дает — им вконец от такового дела престати, да не Божие имя такового письма похуляется. И аще учнут глаголати: "мы тем живем и питаемся", и таковому их речению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти: много бо и различно рукодействия даровано от Бога, им же человеком препитатись и живым быти и кроме иконного письма... — поучает мастер.

Закату не осилить слюдяных оконцев. В Тереме темнеет. Расходятся иконники. Не блестят венчики и узоры на ризах. Дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников. Сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, смягчит тени станков. Истоиво и мерно звучит поучение о добром живописном рукоделии.

Творится в Иконном тереме хитрое и красное дело.

1899

# По пути из Варяг в Греки

Плывут полунощные гости.

Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями — всполошило их мирную жизнь что-то, малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские — увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.

Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно — все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их — в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее — славную, полную дикого простора и воли.

Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротой наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен — чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, — дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом.

На мореходной ладье народу довольно — человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посазовитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и туры рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников, — мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам.

Стихнет ветер — дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру — в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.

Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховом. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь — пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотой; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение — украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами,

претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб — много художественнее их.

За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место — старинное потемкинское имение Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и разворачивается в привольную северную реку, — серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая заскорузлая провинция, — даже названия улиц и те еще не прививаются среди обывателей.

Левее города, за крепостью, бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно, так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до новой Ладоги. Накрененная набок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой, она производит впечатление скорей самовара, чем пассажирского парохода, но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода — труба — срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бечевы барж, идущих по каналу на четырех лохматых лошаденках; глубина канала заставляет отказаться от киля и винта; тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков, а почему их нельзя было распределить равномернее — этого мне не могла объяснить пароходная прислуга.

Затрясся, задрожал пароход, казалось, еще больше накренился набок, и мы тронулись по каналу, параллельно Ладожскому озеру, с быстротою 6 верст в час. Случайный собеседник, знакомый с местными порядками, успокаивает, — что, вероятно, придем вовремя, не сцепимся со встречною баркою или не сядем на мель, — и то и другое бывает нередко.

Через вал канала то и дело выглядывает горизонт Ладожского озера. Среди местных поверий об озере ясно сказывается влияние старины: озеро карает за преступления.

Подобные рассказы сводятся к следующему типу. Позарился мужичок на чужие деньги, убил своего спутника во время пути в Ладогу по льду и столкнул труп на лед. Сам поехал дальше и заснул. Просыпается — уже ночь; поднялся ветер, снег дочиста сдуло со льда; понесло мужика вместе с лошадыю прочь с дороги неведомо куда. Увидел мужик, что дело плохо, потому что при сильном ветре Бог весть как далеко занести может и, чего доброго, в полынью попадешь; отпряг он лошадь, вывернул оглобли, заострил концы и пошел по знакомым приметам: пускай и лошадь, и санки, и все пропадает, лишь бы самому от смерти уйти. Крепчает ветер, слепит вьюгой глаза, затупились колья, не цепляются они больше за лед, и мужика понесло по ветру. Среди снежного моря зачернелось что-то, ближе и ближе — прямо на чернизину летит мужик. Смотрит, перед ним убитый товарищ; хочет свернуть в сторону — не слушаются ноги, зацепают за труп, подламывается лед, и убийца вместе с убитым тонут в озере. Интересный осколок новгородских былин! Последняя картинка этого эпизода, когда роковым образом встречаются убийца с своею жертвою, — очень художественна.

По правую сторону парохода низкая болотная местность, среди нее где-то, по словам местного пассажира, притаилась богатая раскольничья деревня, пробраться в которую можно лишь в удобное зимнее время. Небось в таком уголке сохранилось немало интересного: и песни, и поверья, и округы старинные — делается обидно, почему теперь не зима. Мимо тянутся баржи, носы часто разукрашены хитрыми резными коньками, невольно напрашивающимися на параллель с байекским ковром. С одной грузной беляной стрялась беда — затонула, широко расплылись массы дров. На берегу примостился ее экипаж, выстроили шалашик, развели огонь, варят рыбку, мирно и спокойно, словно и зимовать здесь собрались.

Серый, однообразный пейзаж тянется вплоть до самой Новой Ладogi. Сравнительно поздно возникшая, она, конечно, не может дать ни художественного, ни исторического материала; за ней впереди чуеться что-то более значительное: в 12 верстах от нее историческое гнездо — Старая Ладoga. Скучно дожидаться волховского парохода, — торопясь, на почтовых скачешь туда по прекрасной шоссированной дороге. Слева местами выглядывает Волхов — берега песчаные, заросли сосной и вереском. Потом дорога возьмет правее и пойдет почти вплоть до самой Старой Ладogi по обычному пологому пейзажу, с лесом на горизонте. Из-за бугра выглянули три кургана — волховские сопки. Большая из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется очень высокой. Взбираемся на бугор — и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурий Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курганы, и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом, один красивее другого. Из-за кургана, наполовину скрытая пахотным черным бугром, торчит белая Ивановская церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды — типичная монастырская ограда с белыми башенками по углам. Далее в беспорядке — серые и желтоватые остовы посада, вперемежку с белыми силуэтами церковей. Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды, что-то белеет, а за всем этим густо-зеленый бор — все больше хвоя; через силуэты елей и сосен опять выглядывают вершины курганов. Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение.

Когда вас охватывает настроение, словно при встрече с почтенным старцем, невольно замедляете походку, голос становится тише и, вместе с чувством уважения, вас наполняет какой-то удивительный покой, будто смотрите куда-то далеко, без первого плана.

Поэзия старины, кажется, самая задушевная. Ей основательно противопоставляют поэзию будущего; но почти беспочвенная будущность, несмотря на свою необъятность, вряд ли может так же сильно настроить кого-нибудь, как поэзия минувшего. Старина, притом старина своя, ближе всего человеку... Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладogu. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем, сколько прекрасного и типичного можно вывезти из этого забытого уголка — осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать. (Совершить такую поездку, как видно из приведенных подробностей пути, чрезвычайно просто.)

Мне приходилось встречать художников, пеняющих на судьбу, не посылающую им мотивов.

"Все переписано, — богохульствуют они, — справа ли, слева ли поставлю березку или речку, все выходит старо. Вам, историческим живописцам, хорошо, — у вас угол непочатый, а нам-то каково, современным, и особенно пейзажистам".

Вот бедные! Они не замечают, что кругом все ново, бесконечно, только сами-то они, вопреки природе, норовят быть старыми и хотят видеть во всем новом старый шаблон и тем приучают к нему массу публики, извращая непосредственный вкус ее. Точно можно сразу перебрать неисчислимые настроения, разлитые в природе, точно субъективность людей ограничена? Говорят, будто нечего писать, а превосходные мотивы, доступные даже для копииста и протоколиста, остаются втуне, лежат под самым боком нетронутыми.

Да что говорить о скудных художниках, которым не найти мотива!.. Я почти уверен, что даже поэту пейзажа будет превосходная тема, если он в тихий вечер, когда по всему небу разбежались узорчатые, причудливые тучи, постоит на плоту, недалеко от Успенского монастыря в Ст. Ладoge, и поглядит на крепостную церковь, посад, на далекий Никольский монастырь — все это, облитое последним лучом, спокойно отразившееся в засыпающем Волхове. Стоит только обернуться — и перед вами другой мотив, не менее прекрасный. Старый сад Успенского монастыря, стена и угловые башенки прямо уходят в воду, потому что Волхов в разливе. Сквозь уродливые, переплетшиеся ветки сохнувших высоких деревьев, с черными

шапками Грачевых гнезд по вершинам, чувствуется холодноватый силуэт церкви новгородского типа. За нею ровный пахотный берег и далекие сопки, фон — огневая вечерняя заря, тушующая первый план и неясными темными пятнами выдвигающая бесконечный ряд черных фигур, что медленно направляются из монастырских ворот к реке, — то послушницы идут за водою.

Ладожские церкви, такие типичные по внешнему виду, как и большинство церквей Новгородской области, внутри представляют мало интересного. Живопись нова и неудачна, древней утвари не сохранилось. Исключение представляет церковь в крепости — в ней уцелела древнейшая фресковая живопись. Подле каменной церкви приютилась тоже старинная, крохотная, серая, деревянная церковочка — тип церкви какого-нибудь далекого скита. Вся она перекосилась, главка упала, и крест прямо воткнут в уцелевший барабан ее. Интересное крылечко провалилось, дверка вросла в землю. Церковка обречена на падение.

Подле крепости указывают еще на два церковных фундамента, открытых г. Бранденбургом, исследовавшим местные древности. Раскопка Ладоги еще впереди.

Пишем этюды. Как обыкновенно бывает, лучшие места оказываются застроенными и загороженными. Перед хорошим видом на крепостную стену торчит какой-то несуразный сарай; лучший ракурс Ивановской церкви портится избой сторожа. Вечная история! Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться — на постройки или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания, а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным, не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда-то кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью? — думается, такое время все-таки да будет.

На прощанье взбираемся к вершине кургана и фантазируем сцену тризны. Невдалеке от реки возвышается какой-то "холм", поросший вереском.

— А ведь там, смотри, на бугре когда-нибудь жило, стояло, может быть, городок был, — указывает на холм мой товарищ и затягивает: — "Купался бобер".

Видно, и на него повеяло древним язычеством.

От Старой Ладоги до Дубовика характер берегов и течение реки не изменяются. Берега высокие, на самом откосе торчат курганы. Много портят пейзаж прибрежные плитоломни. Что-то выйдет из Волховских берегов, если подобная работа и впредь будет производиться так же ревностно? За поворотом исчезли последние признаки Старой Ладоги, и мы радуемся этому, потому что увозим от нее самые приятные воспоминания, пропустив мимо всю ее неприглядную обыденную жизнь, сосредоточившуюся, как заметно уже на второй день пребывания, лишь на прибытии парохода с низа или с верха.

Пароход дальше Дубовика нейдет, — тут начинаются пороги, так что до Гостинопольской паровой пристани (расстояние около 10 верст) надо проехать в дилижансе. Дилижанс этот представляет из себя не что иное, как остов большого ящика, поставленный ребром, с выбитыми дном и крышкой. Мы сели лицом к реке. Лошади рванули и проскакали почти без передышки до пристани. Дорога шла подле самой береговой кручи; несколько раз колесо оказывалось на расстоянии не более четверти от обрыва, так что невольно мы начинали соображать, что, если на какой-нибудь промоине нас выкинет из дилижанса, упадем ли мы сразу в Волхов или несколько времени продержимся за кусты. А Волхов внизу кипел и шипел. Мы скакали мимо самых злых порогов. Несмотря на разлив, давно незапамятный, из воды все же торчали кое-где камни; подле них белела пена, длинным хвостом скатываясь вниз. Сила течения в порогах громадна: в половодье груженная баржа проходит несколько десятков верст в час. Целая толпа мужиков и баб правит ею; рулевого нередко снимают от руля в обмороке — таково сильно

нервное и физическое напряжение.

Баржу гонят с гиком и песнями; личность потонула в общем подъеме. Вода бурлит, скрипят борты... Какая богатая картина! Название "Гостинополь" заставляет задуматься — в нем слышится что-то нетеперешнее. Наверное, здесь был волок, ибо против течения пройти в Волховских порогах и думать нечего. В Гостинополе же ладьи снова спускались и шли к Днепровскому бассейну. Может быть, до Дубовика шли в старину на мореходных ладьях (слово "дубовик" напрашивается на производство от "дуб-лодка"), а в Гостинополе сохранялись лодки меньшего размера — резные. Впрочем, становиться на точку таких предположений — опасно. В Гостинополе нагрузились на пароход, что повезет нас до Волховской станции Николаевской дороги, — там опять пересадка. На палубе парохода целое стадо телят, лежат они связанные, жалобно мыча, — иных пассажиров не видно, но удивляться этому нечего, ибо поездки по Руси ведь совсем не приняты, да к тому же нельзя сказать, чтобы и сообщение было хорошо приспособлено; так мы приехали в Гостинополь в 8-м часу вечера, а пароход отходил в 3 1/2 часа утра. Почему не в 5 или не в 4 — неизвестно. Впрочем, отхода его мы не дождались, ибо к тому времени уже спали крепким сном. Проснувшись заутро, товарищ выглянул в окошко:

— Ну, что там? Красиво?

— Тундра какая-то! Болото и топь.

Часа через два я выглянул — опять низкое место, которое потянулось вплоть до станции Волхов. Знаменитое Аракчеевское Грузино — нечто очень печальное, суровое, опустившееся, ничего общего не имеющее с тою великолепною декорацией, какую нам представляют его современные гравюры. На Волховской станции нас усердно уговаривали продолжать путь по железной дороге и, наконец, посмотрели с сожалением, как на людей, действующих к явной своей невыгоде; для продолжения водного пути пришлось сидеть на станции от 11 часов утра до 5 утра же, тогда как поезд проходил через полчаса. Оставалось спать и спать, потому что в сером пейзаже, состоявшем из затопленных деревень, было мало интересного и красивого.

— Гуся, что ли, нарисовать на память о великом водном пути, — предложил я, и мы смеялись, вспомнив, как один художник объяснял цель и смысл художественных поездок: "а то другой едет за тысячи верст и там коровой занимается или курицей самой обыкновенной, точно он дома не мог то же самое сделать с большим успехом и удобством", — говорил он.

Путь от Волховской станции до самого Новгорода ничем особенным не радует. Аракчеевские казармы, бесконечные пашни — все это благоустроено, но ordinarily. Перед Новгородом несколько монастырей самого обыденного вида. Единственно красивое место за весь этот кусок пути — так называемые Горбы с остатками славного соснового бора, сильного и ровного, как щетка. Чем ближе подвигались мы к Новгороду (местный житель никогда не скажет Новгороду, а подчеркнет Н о в у городе), тем сильнее и сильнее овладевало нами какое-то разочарование. Разочаровал нас вид Кремля, разочаровали встречные тины, разочаровало общее полное безучастие к историчности этого места. Что подумает иностранец, когда мы, свои люди, усумнились: да полно, господин ли это великий Новгород?

На мосту стола старица,

На мосту чрез синий Волхов...

Вспомнил мой спутник, когда мы входили на мост, направляясь в Кремль. Но вместо старицы на мосту стоял отвратительного вида босяк с кровавой шишкой под глазом. Навстречу попало несколько мужиков — истые "худые мужички-вечники", за кого кричать, за что — все равно, лишь бы поднесли.

Софийский собор, в лесах; там идет, как известно, капитальный ремонт. Уже давно было слышно, что, по какому-то странному стечению обстоятельств, важная задача расписать этот славнейший и древнейший русский собор миновала руки художников и выпала на долю артели

богомазов. На расстоянии как-то все смягчается, многое важное ускользает от внимания в заглазных рассказах, пока не увидишь воочию. Я думаю, и вы, кому придется читать эти строки, не обратите на них никакого внимания; кругом все тихо и смиренно, какое кому дело, что где-то в отжившем городе совершается нечто странное? А между тем, это "нечто странное", если вдуматься, оказывается чрезвычайно знаменательным. На рубеже XX века, при возрастающем общем интересе к отечественным древностям, при новых путях религиозной живописи, один из лучших русских памятников старины расписывается иконописцами-богомазами, и притом — как расписывается! Жутко делается, когда лазишь по внутренним лесам храма мимо этих богомазных изображений — глубоко бездарных, сухих, пригодных разве в захолустную церковь сверхштатного городишки, а никак не уместных при соседстве с памятником тысячелетия Руси. Еще обиднее и гаже становится, когда осмотришь внизу превосходную древнюю фреску Константина и Елены и купольные изображения пророков и архангелов, наводящие на мысль: какой высоконациональный храм мог бы получиться из Софии под мастерскою кистью при таких основных базисах, каковы сохранившиеся остатки древних фресок; как стильно и художественно можно бы было заживить остальные стены! Какой богатый материал, какая возможность поддержать славный памятник и расцветом его, быть может, оживить целый город! — но вдруг все умышленно попирается, производится небольшая экономия... а что впереди? — там хоть потоп. Если не хватает средств, то отчего попросту не заштукатурить стены, оставив лишь остатки древней росписи? Или уже покрыть и старую живопись богомазными изделиями, не заказывать г. Фролову удачные подражания древних мозаик, убрать сохранившиеся, чтобы и сравнения не было, как оно могло быть и как есть на самом деле, — по крайности не было бы полумер. Если изгонять художественность и национальность, то уж гнать их основательно, по всем пунктам, без пощады.

Мне кто-то хотел объяснить, как это печальное событие произошло, говоря, что много было всяких мелких обстоятельств; но, полагаю, для истории будет знаменательно, выясняя развитие русского искусства в конце XIX века, отметить крупный факт росписи первой русской святыни артелью богомазов, без участия пригоднейших к этому делу даровитых художников. Какое отрадное сведение, в особенности для всех причастных к современному искусству! — и перед собою-то стыдно, еще стыднее перед иностранцами, когда они скажут, и на этот раз вполне заслуженно: уж эти варвары!

Джон Рескин, услышав о таком деле, наверно бы писал о нем в траурной рамке.

Новгородская косность простирается до такого предела, что из 10 встречных лишь один мог указать, как пройти к Спасу, что на Нередице, — к древности, которая должна бы быть известна каждому мальчишке, да и была бы известна в европейском городе.

Не велик городской музей новгородский, содержание его больше случайное, а местонахождение не совсем удачно, ибо для него пришлось погубить одну из Кремлевских башен; но это не беда, если бы музей хоть сколько-нибудь интересовал обитателей, а то посетители его почти исключительно приезжие, тогда как среди местных жителей находятся некоторые, вовсе и не подозревающие о существовании городского музея или знакомые с ним лишь понаслышке.

Интересен Знаменский собор, хотя особою древностью он не отличается. Сени и внешняя галерея его, видимо, первоначально были открытые, на арках с грушами, — теперь они заложены, и довольно неблагополучно: напр., внутри сеней новая кладка расписана "под мрамор" малярами, тогда как остальное пространство сплошь покрыто живописью. Можно представить, насколько выиграет общий характер собора, если восстановить эти типичные арки, само же восстановление не должно обойтись слишком дорого.

Наиболее цельное впечатление из всех новгородских древностей производит церковь



Спаса-на-Нередице. Не буду касаться исторических и иных подробностей этой интересной церкви, сохранившей в сравнительной цельности настенное письмо, — такие подробности можно найти в трудах Макария (опис. Новгород. церк. древн., 1, 798), Прохорова, Н. В. Покровского и в имеющем выйти в ближайшем будущем VI выпуске "Русских Древностей", изд. гр. И. И. Толстым и акад. Н. П. Кондаковым. Основанная в 1197 году князем Ярославом Владимировичем, Спасская церковь по древности, а главное, по сохранности, является памятником исключительным, и надо желать, чтобы как можно скорее она была издана полным и достойным для нее образом.

С софийской стороны, из Воскресенской слободы (в которой тоже типичные и древние храмы: Фомы апостола и Иоанна Милостивого), мы перерезали Волхов, бесконечный в своем разливе, направляясь к Нередице. Дело шло к вечеру, солнце било желтым лучом в белые стены Спаса, одиноко торчащего на бугре, — пониже его лепится несколько избышек и торчат ивы, кругом же ровный горизонт. Такие одиночные, среди пустой равнины, церкви очень типичны для новгородского пейзажа: то там, то тут, при каждом новом повороте, белеют они. Проехали мы Лядский бугор, где в былое время стоял монастырь, само же название урочища будто бы производится от божества Ладо.

На горизонте Ильменя выстроился ряд парусов — они стройно удалялись. Чудно и страшно было сознать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские, Садко богатого гостя вольные струги, проплывала новгородская рать на роковую Шелонскую битву...

Ракурс Спаса с берега, пожалуй, еще красивей, нежели его дальний вид. Колокольная несколько позднейшей постройки, но зато сам корабль очень строен и характерен. Живопись, сплошь покрывающая стены и теряющаяся во мраке купола, полна гармонии, ласкает глаз на редкость приятным сочетанием тонов, облагороженных печатью времени.

Надо торопиться полно и достойно издать этот памятник — он уже требует серьезного ремонта, для которого, как говорят, не хватает средств. На первые нужды необходимо хоть 5000 рублей — неужели сейчас же не найдется любителя старины, располагающего такой суммой? Есть много богатых людей, не жалеющих своих достатков на добрые дела; ремонт Спаса ведь тоже доброе дело, да еще какое!

Возвращаясь к дому с Шелони, я дожидался поезда в Шимске. Среди многочисленных вокзальных объявлений бросался в глаза изящный плакат Дрезденской художественной выставки, и невольно думалось: что Шимску искусство? да и будет ли когда оно для Шимска — не пустым далеким звуком?

Мы признали значительность и научность старины; мы выучили пропись стилей; мы даже постеснялись и перестали явно уничтожать памятники древности. Мы уже не назначим в продажу с торгов за 28000 рублей для слова чудный ростовский кремль с расписными храмами, с княжескими и митрополичьими палатами, как это было еще на глазах живых людей, когда только случайность, неимение покупателя спасли от гибели гордость всея Руси.

Ничего больше вашему благополучному существованию не нужно; и никакого места по-прежнему в жизни нашей старина не занимает. По-прежнему далеки мы от сознания, что общегосударственное, всенародное дело должно держаться всею землею, вне казенных сумм, помимо обязательных постановлений.

Правда, есть и у нас немногие исключительные люди, которые под гнетом и насмешками "сплоченного большинства" все же искренно любят старину и работают в ее пользу, но таких людей мало, и, все усилия их только кое-как удерживают равновесие, а о поступательном движении нельзя еще и думать.

А между тем в отношении древности мы переживаем сейчас очень важное время. У нас уже немного остается памятников доброй сохранности, нетронутых неумелым подновлением, да и те как-то дружно запросили поддержку.

Где бы ни подойти к делу старины, сейчас же попадаешь на сведения о трещинах, разрушающих роспись, о провале сводов, о ненадежных фундаментах. Кроме того, еще и теперь внимательное ухо может в изобилии услышать рассказы о фресках под штукатуркой, о вывозе кирпичей с памятника на постройку, о разрушении городища для нужд железной дороги. О таких грубых проявлениях уже не стоит говорить. Такое явное искажение должно вымереть само: грубое насилие встретит и сильный отпор. После знаний уже пора нам любить старину, и время теперь уже говорит о хорошем, художественном отношении к памятникам.

Минувшим летом мне довелось увидеть много нашей настоящей старины и мало любви вокруг нее.

Последовательно прошла передо мною Московщина, Смоленщина, вечевые города, Литва, Курляндия и Ливония, и везде любовь к старине встречалась малыми, неожиданными островками, и много где памятники стоят мертвыми.

Что же мы видим около старины?

Грозные башни и стены заросли, закрылись мирными березками и кустарником. Величавые, полные романтического блеска соборы задавлены ужасными домишками. Седые иконостасы обезображены нехудожественными добротными приношениями. Все потеряло свою жизненность. И стоят памятники, окруженные врагами снаружи и внутри. Кому не дает спать на диво обожженный кирпич, из которого можно сложить громаду фабричных сараев, кому мешает стена проложить конку, кого беспокоят безобидные изразцы и до боли хочется сбить их и унести, чтобы они погибли в куче домашнего мусора.

Так редко можно увидеть человека, который искал бы жизненное лицо памятника, приходил бы по душе побеседовать со стариной. Фарисейства, конечно, как везде, и тут не оберешься. А сколько может порассказать старина родного самым ближайшим нашим исканиям и стремлениям.

Вспомним нашу старую (нереставрированную) церковную роспись. Мы подробно

исследовали ее композицию, ее малейшие черточки и детали, и как еще мало мы чувствуем общую красоту ее, т. е. самое главное. Как скудно мы сознаем, что перед нами не странная работа грубых богомазов, а превосходнейшая стенопись. Между прочим, в Ростове мне пришлось познакомиться с молодым художником, иконописцем г. Лопатовым, и случилось пожалеть, что до сих пор этому талантливому человеку не приходится доказать свое чутье и умение на большой реставрационной работе. Способный иконописец и сидит без дела, и около старых икон толпятся грубые ловкачи-подрядчики, даже по Стоглаву подлежащие запрещению касаться святых ликов, богомазы, которых в старое время отсылали с Москвы подальше.

Проездом через Ярославль слышно было, что предстоит ремонт Ивана Предтечи; следует поправить трещины. Но страшно, если, заделывая их, кисть артельного мастера разгуляется и по лазоревым фонам, и по бархатной мураве; получится варварское дело, ибо писали эти фрески не простые артельные богомазы, а добрые художники своего времени.

Мало мы еще ценим старинную живопись. Мне приходилось слышать от интеллигентных людей рассказы о странных формах старины, курьезы композиции и одежды. Расскажут о немцах и других иноземных человеках, отправленных суровым художником в ад на Страшном суде, скажут о трактовке перспективы, о происхождении форм орнамента, о многом будут говорить, но ничего о красоте живописной, о том, чем живо все остальное, чем иконопись будет важна для недалекого будущего, для лучших "открытий" искусства. Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших примитивов, значение русской иконописи. Поймут, и завопят и заахают. И пускай завопят! Будем их вопление пророчествовать — скоро кончится "археологическое" отношение к историческому и к народному творчеству и пышнее расцветет культура искусства.

Мы переварили западных примитивов. Мы как будто уже примиряемся с языком многих новейших индивидуалистов. К нам много теперь проникает японского искусства, этого давнего достояния западных художников, и многим начинают нравиться гениальные творения японцев с их живейшим рисунком и движением, с их несравненными бархатными тонами.

Для дела все равно, как именно, лишь бы идти достойным путем; может быть, хоть через искусство Востока взглянем мы иначе на многое наше. Посмотрим не скучным взором археолога, а теплым взглядом любви и восторга. Почти для всего у нас фатальная дорога "через границу", может быть, и здесь не миновать общей судьбы.

Когда смотришь на древнюю роспись, на старые изразцы или орнаменты, думаешь: какая красивая жизнь была. Какие сильные люди жили ею. Как жизненно и близко всем было искусство, не то что теперь, — ненужная игрушка для огромного большинства. Насколько древний строитель не мог обойтись без художественных украшений, настолько теперь стали милы штукатурка и трафарет. И добро бы в частных домах, а то и в музеях, и во всех общественных учреждениях, где не пауки и сырость должны расцвечать плафоны и стены, а живопись лучших художников, вдохновляемых широким размахом задачи. Насколько ремесленник древности чувствовал инстинктивную потребность оригинально украсить всякую вещь, выходящую из его рук, настолько теперь процветают нелепый штамп и опошленная форма. Все вперед идет!

## II

Грех, если родные, близкие всем наши памятники древности будут стоять заброшенными. Не нужно, чтобы памятники стояли мертвыми, как музейные предметы. Не хорошо, если перед стариною в ее жизненном пути является то же чувство, как в музее, где, как в темнице, по

остроумному замечанию де ла Сизеранна, заперты в общую камеру разнороднейшие предметы; где фриз, рассчитанный на многоаршинную высоту, стоит на уровне головы; где исключаящие друг друга священные, обиходные и военные предметы насильственно связаны по роду техники воедино. Трудно здесь говорить об общей целесообразной картине, о древней жизни, о ее характерности. И не будет этого лишь при одном неперменном условии.

Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, в котором он красовался в былое время, — хоть до некоторой степени возвратите! Не застраивайте памятников доходными домами; не заслоняйте их казармами и сараями; не допускайте в них современные нам предметы — и многие с несравненно большей охотой будут рваться к памятнику, нежели в музей. Дайте тогда молодежи возможность смотреть памятники, и она, наверное, будет стремиться из тисков современности к древнему, так много видевшему делу. После этого совсем иными покажутся сокровища музеев и заговорят с посетителями совсем иным языком. Музейные вещи не будут страшною необходимостью, которую требуют знать, купно, со всеми ужасами сухих соображений и сведений во имя холодной древности, а наоборот, отдельные предметы будут частями живого целого, завлекательного и чудесного, близкого всей нашей жизни. Не опасаясь педантичной суши, пойдет молодежь к живому памятнику, заглянет в чело его, и мало в ком не шевельнется что-то старое, давно забытое, знакомое в детстве, а потом заваленное чем-то будто бы нужным. Само собою захочется знать все относящееся до такой красоты; учить этому уже не нужно, как завлекательную сказку, схватит всякий объяснения к старине.

Как это все старо и как все это еще ново. Как совестно твердить об этом и как все эти вопросы еще нуждаются в обсуждениях! В лихорадочной работе куется новый стиль, в поспешности мечемся за поисками нового. И родит эта гора — мышь. Я говорю это, конечно, не об отдельных личностях, исключениях, работы которых займут почетное место в истории искусства, а о массовом у нас движении. Не успели мы двинуться к обновлению, как уже сумели выжать из оригинальных вещей пошлый шаблон, едва ли не горший, нежели прежнее безразличие. В городах растут дома, художественностью заимствованные из сокровищницы модных магазинов с претензией на новый пошиб; в обиход проникают вещи старинных форм, часто весьма малопригодные для употребления. А памятники, наряду с природой живые вдохновители и руководители стиля, заброшены, и пути к ним засорены сушью и педантизмом. Кто отважится пойти этой дорогою, разрывая и отряхивая весь лишний мусор, собирая осколки прекрасных форм?

### III

В глухих частях Суздальского уезда хотелось найти мне местные уборы. Общие указания погнали меня за 20 верст в село Торки и Шошково. В Шошкове оказалось еще много старины. Во многих семьях еще носили старинные сарафаны, фаты и повязки. Но больно было видеть тайное желание продать все это, и не в силу нужды, а потому что "эта старинная мода прошла уже".

Очень редко можно было найти семью, где бы был в употреблении весь старинный убор полностью.

— Не хотят, вишь, молодые-то старое одевать, — говорил старик мужичок, покуда дочка пошла одеть полный наряд.

Я начал убеждать собравшихся сельчан в красоте нарядных костюмов, что носить их не только не зазорно, но лучшие люди заботятся о поддержании национального костюма. Старик терпеливо выслушал меня, почесал в затылке и сказал совершенно справедливое замечание:

— Обветшала наша старина-то. Иной сарафан, или повязка, хотя и старинные, да изорвались временем-то, — молодухам в дырках ходить и зазорно. И хотели бы поновить чем, а негде взять. Нынче так не делают, как в старину; может, конечно, оно и делают, да нам не достать, да и дорого, не под силу. У меня в дому еще есть старина, а и то прикупать уже из-за Нижнего, из-за Костромы приходится, и все-то дорожает. Так и проходит старинная мода.

Старик сказал правду! Нечем поновлять нашу ветшающую старину. Оторвались мы от нее, ушли куда-то, и все наши поновления кажутся на старине гнусными заплатами. Видел я попытки поновления старинных костюмов — в высшей степени неудачные. Если положить рядом прекрасную старинную парчу с дешевой современной церковной парчой, если попробуете к чудной набойке с ее ласковыми синими и бурными тонами приставить ситец или коленкор, да еще из тех, которые специально делаются "для народа", — можно легко представить, какое безобразие получается.

Современный городской эклектизм, конечно, прямо противоположен национализму; вместо нелепых попыток изобрести национальный костюм для горожан, не лучше ли создать почву, на которой могла бы жить наша вымирающая народная старина. Костюм не надо придумывать: века сложили прекрасные образцы его; надо придумать, чтобы народ в культурном развитии мог жить национальным течением мысли, чтобы он вокруг себя находил все необходимое для красивого образа жизни; надо, чтобы в область сказаний отошли печальные факты, что священники сожигают древние кички, "ибо рогатым не подобает подходить к Причастию". Необходимо, чтобы высшие классы истинно полюбили старину. Отчего фабрики не дают народу красивую ткань для костюмов, доступную, не грубую, достойную поновить старину? Дайте почву и костюму, и песне, и музыке, и пляске, и радости. Пусть растет старинная песня, пусть струны балалаек, вместо прекрасных древних ладов не вызванивают пошлых маршей и вальсов. Пусть и работает русский человек по-русски, а то ведь ужасно сказать, в местностях, полных лучших образчиков старины, издавна славных своею финифтью, сканным и резным делом, в школах можно встречать работы по образцам из "Нивы". Или еще хуже того: в Торжке, даже по гимназическим географиям знаменитом своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше — нашлась опытная руководительница и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение; вы подумаете, что новое земство позаботилось о расширении этого удачного дела? — ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнею и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло. При таких условиях для себя разве сумеет народ сделать что-нибудь красивое? Единственно, если будет прочная почва, можно ждать и доброе дерево. Все знают, сколько цельного и прекрасного сохранили в своем быту староверы. Где только живет старина, там звучит много хорошего; живут там лучшие обычаи. Вот она старина-то!

Но не умеем мы, не хотим мы помочь народу опять найти красоту в его трудной жизни. Не с радостью собирателя, а бережно, только очень бережно можно отнимать у народа его остатки красоты, его дива дивные, веками им взлелеянные. Только строгими весами можно выверять равноценность сообщаемого нами народу и похищаемого у него.

В том же Шошкове меня поразила церковь чистотою своих форм: совершенный XVII век. Между тем узнаю, что только недавно справляли ее столетие. Удивляюсь и нахожу разгадку. Оказывается, церковь строили крестьяне всем миром и нарочно хотели строить под старину. Сохраняется и приятная окраска церкви, белая с охрой, как на храмах Романова-Борисоглебска. Верные дети своего времени, крестьяне уже думают поновлять церковь, и внутренность ее уже переписывается невероятными картинами в духе Доре. И нет мощного голоса, чтобы сказать им,

какую несообразность они творят. При такой росписи странно было думать, что еще деда этих самых крестьян мыслили настолько иначе, что могли желать строить именно под старину.

Теперь же нас — культурнейших — окружают совершенно иные картины. Несмотря на все запрещения, несмотря на опеку старины — комиссию, на глазах многих тают целые башни и стены. Знаменитые Гедеминский и Кейстутский замки в Троках пришли в совершенное разрушение. На целый этаж завалила рухнувшая башня стены замка Кейстута на острове. В замковой часовне была фресковая живопись, особенно интересная для нас тем, что, кажется, была византийского характера; от нее остались одни малоизвестные остатки, дни которых уже сочтены, из-под них внизу вываливаются кирпичи. Слышно, что замок в недалеком будущем кто-то хочет поддержать; трудно это сделать теперь, хоть бы не дать пищу дальнейшему разрушению. В Ковне мне передавали, что местный замок еще не так давно очень возвышался стенами и башнями, а теперь от башни остается очень немного, а по фундаментам стен лепят постройки. На каком основании, по какому праву появляются эти лачуги на государственной земле, которая недоступна даже для общественных учреждений?

В Мерече на Немане я хотел видеть старинный дом, помнящий короля Владислава, а затем Петра Великого. По археологической карте дом этот значится существующим еще в 1893 году, но теперь его уже нет; в 1896 году он перестроен до фундамента. Городская башня разобрана, а подле местечка торчит оглоданный остаток пограничного столба, еще свидетеля Магдебургского права города Мереча, а теперь незначительного селения. Кое-где видна на столбе штукатурка, но строение его восстановить уже невозможно.

На самом берегу Немана в Веллонах и в Сапежишках есть древнейшие костелы с первых времен христианства. В Ковне и в Кейданах есть чудные старинные домики, а в особенности один с фронтоном чистой готики. Пошли им Бог заботливую руку — сохранить подольше. Много по прекрасным берегам Немана старинных мест, беспомощно погибающих. Уже нечему там рассказать о великом Знице, Гедемине, Кейстуте, о крыжаках, о всем интересном, что было в этих местах. Из-за Немана приходят громады песков, а защитника леса уже нет, и лицо земли изменяется уже неузнаваемо.

На Изборских башнях только кое-где еще остаются следы узорчатой плиткой кладки и рельефные красивые кресты, которыми украшена западная стена крепости. Не были ли эти кресты страшным напоминанием для крестоносцев, злейших неприятелей пограничного Изборска? Под толстыми плитными стенами засыпались подземные ходы, завалились тайники и ворота.

Знаменитый собор Юрьева-Польского, куда более интересный, нежели Дмитровский храм во Владимире, почти весь облеплен позднейшими скверными пристройками, безжалостно впившимися в сказочные рельефные украшения соборных стен. Когда-то эта красота очистится от грубых приделок и кто выведет опять в жизнь этот удивительный памятник?

Деревянная церковь на Ишне около Ростова, этот прекрасный образец архитектуры северных церквей, обшит досками и теперь обносится шаблоннейшим заборчиком, вконец разбивающим впечатление темно-серой церкви и кладбища с тонкими березами. В медленном разрушении теряют лицо живописные подробности Новгорода и Пскова.

И не перечить всего погибающего, но даже там, где мы сознательно хотим отстоять старину, и то получается нечто странное. После долгого боя отстояли красивые стены Смоленска, "с великим тщанием" законченные при царе Борисе. Теперь даже кладут заплатки на них, но зато из старинных валов, внизу из-под стен, вынимают песок. Я хотел бы ошибиться, но под стенами были видны свежие колеи около песочных выемок, а вместо бархатистых дерновых валов и рвов под стенами — бесформенные груды песка и оползни дерева, точно после злого погрома. Вот тебе и художественный общий, вот и исторический вид! И это около Смоленска,

где песчаных свободных косогоров не обнять взглядом. [\[11\]](#)

Обыкновенно у нас принято все валить на неумолимое время, а неумолимы люди, и время лишь идет по стопам их, точным исполнителем всех желаний.

Вокруг наших памятников целые серии именных ошибок, и летописец мог бы составить любопытный синодик громких деятелей искажения старины. И это следует сделать на память потомству.

#### IV

Несколько лет назад, описывая великий путь из варяг в греки, мне приходилось, между прочим, вспоминать: "Когда-то кто-нибудь поедет по Руси с целью охранения наших исторических пейзажей во имя красоты и национального чувства?"

С тех пор я видел много древних городищ и урочищ, и еще сильнее хочется сказать что-либо в их защиту.

Какие это славные места!

Почему древние люди любили жить в таком приволье? Не только в стратегических и других соображениях тут дело, а широко жил и широко чувствовал древний. Если хотел он раскинуться свободно, то забирался на самый верх местности, чтобы в ушах гудел вольный ветер, чтобы сверкала под ногами быстрая река или широкое озеро, чтобы не знал глаз предела в синюющих, заманчивых далях. И гордо светились на все стороны белые вежи. Если же приходилось древнему скрываться от постороннего глаза, то не знал он границы труппности места, запирались он бездонными болотами, такими ломняками и буераками, что у нас и духу не хватит подумать осесть в таком углу.

После существующих городов часто указывают древнее городище, и всегда оно кажется гораздо красивее расположенных, нежели позднейший город. Знал так называемый "Трувор", где сесть под Изборском, у Словенского Ручья, и гораздо хуже решили задачу псковичи, перенесшие городок на гору Жераву. Городище под Новгородом по месту гораздо красивее положения самого города. Городище Старой Ладogi, рубленый город Ярославля, места Гродненского, Виленского, Венденского и других старых замков — лучшие места во всей окрестности.

Какова же судьба городищ? Цельные, высокие места мешают нам не меньше памятников. Если их не приходится обезобразить сараями, казармами и кладовыми, то непременно нужно хотя бы вывезти, как песок. Еще недавно видел я красивейший Городец-на-Саре [\[12\]](#) под Ростовом, весь искалеченный вывозкою песка и камня. Вместо чудесного места, куда, бывало, съезжался весь Ростов, — ужас и разоренье, над которым искренно заплакал бы Джон Рескин.

Но нам ли искать красивое? До того мы ленивы и нелюбопытны, что даже близкий нам, красивый Псков, и то мало знаем.

Никого не тянет посидеть на берегу Великой перед лицом седого Детинца [\[13\]](#), многим ли говорит что-нибудь название Мирожского монастыря, куда следует съездить хотя бы для одних изображений Спаса и Архангела в приделах.

Старинные башни, рынок под Детинцем, паруса и цветные мачты торговых ладей, как все это красиво, как все близко от столицы. Как хороши старинные домики со стильными крылечками и оконцами, зачастую теперь служащие самым прозаическим назначениям, вроде склада мебели и кладовых. И как мало все это известно большинству, кислому будто бы от недостатка новых впечатлений.

Если и Псков мало знаем, то как же немногие из нас бывали в чудеснейшем месте подле Пскова — Печорах? Прямо удивительно, что этот уголок известен так мало. По уютности, по

вековому покою, по интересным строениям мало что сравняется во всей Средней Руси. Стены, оббитые литовцами, сбегают в глубокие овраги и бодро шагают по кручам. Церкви, деревянные переходы на стене, звонницы, — все это тесно сжатое дает необыкновенно цельное впечатление.

Можно долго прожить на этом месте, и все будет хотеться еще раз пройти по двору, уставленному странными пузатыми зданиями красного и белого цвета, еще раз захочется пройти закоулком между ризницей и старой звонницей. Вереницей пройдут богомольцы; из которой-нибудь церкви будет слышаться пение, и со всех сторон будет чувствоваться вековая старина. Особую прелесть Печорам придают полуверцы — остатки колонизации древней Псковской земли. Каким-то чудом в целом ряде поселков сохранились свои костюмы, свои обычаи, даже свой говор — очень близкий лифляндскому наречию. В праздники женщины грудь увешивают набором старинных рублей, крестов и брактеатов, а середину груди покрывает огромная выпуклая серебряная бляха-фибула.

Издали толпа — вся белая: и мужики и бабы в белых кафтанах; рукава и полы оторочены незатейливым рисунком черной тесьмы. Так близко от нас, презирающих всякую самобытность, еще уцелела подлинная характерность и несколько сот полутемных людей дорожат своими особенностями от прочих.

Часто говорится о старине и в особенности о старине народной, как о пережитке, естественно умирающем от ядовитых сторон неправильно понятой культуры. Но не насмерть еще переехала старину железная дорога, не так еще далеко ушли мы, и не нам судить: долго ли еще могут жить старина, песни, костюмы и пляски? Не об этом нам думать, а прежде всего надо создать здоровую почву для жизни старины, чтобы в шагах цивилизации не уподобиться некоторым недавним просветителям диких стран с их тысячелетней культурой. А много ли делается у нас в пользу старины, кроме казенных запрещений разрушать ее?

Поговорите с духовенством, поговорите с чиновничеством и с полицией, и вы увидите, какие люди стоят к старине ближайшими. Ведь стыд сказать: местная администрация, местные власти часто понятия не имеют об окружающей их старине. Не с гордостью укажут они на памятники, близ которых их бросила судьба и которыми они могут наслаждаться; нет, они, подобно захудалому мужичонке, будут стараться скорее отделаться от скучных расспросов о вещах, их пониманию недоступных, и карты и сплетни куда важнее для них всей старины, вместе взятой.

Откуда же тут возьмется здоровая почва? Откуда сюда придет самосознание? И мы готовы заговорить хоть по-африкански, лишь бы не подумал кто, что свое нам дороже чужого. Старшее поколение, не имея в руках археологии русской, которая занимает свое место лишь за последнюю четверть века, мало знает старину; молодежь почему-то считает старину принадлежностью стариков. И как выйти из этого заколдованного круга? Каким путем удастся нам полюбить старину и понять красоту ее — просто неведомо.

Можно подумать, не нужны ли здесь еще какие-либо приказания. Не нужно ли еще отпуская казенных сумм?

Предвижу, что археологи скажут мне: дайте денег, укажите средства, ибо монументальные сооружения требуют и крупных затрат. Но не в деньгах дело; денег па Руси много; история реставрации Ростовского кремля и некоторых других памятников, наконец, сейчас переживаемое нами время ясно свидетельствует, что если является интерес и сознание — находятся и средства, да и не малые. Деньги-то есть, но интереса мало, мало любви. И покуда археология будет сухо-научною, до тех нор без пророчества можно предсказать отчужденность ее от общества, от народа.

Картина может быть сделана по всем правилам и перспективы, и анатомии, и ботаники, и



все-таки она может вовсе не быть художественным произведением. Дело памятников старины может вестись очень научно, может быть переполнено специальнейшими терминами со ссылками на тысячетомную литературу, и все-таки в нем может не быть духа живого, и все-таки оно будет мертво. Как в картине весь ее смысл существования часто заключается в каком-то необъяснимом словами тоне, в какой-то неподдающейся формуле убедительности, так и в художественном понимании дела старины есть много не укладывающегося в речи, есть многое, что можно только воспринять чутьем. И без этого чутья, без чувства красоты исторического пейзажа, без понимания декоративности и конструктивности все эти разговоры будут нелепой тарабарщиной.

Не о легком чем-то говорится здесь. Слов нет, трудно не утратить чувства при холодных основах знаний; много ли у нас профессоров-наставников, в которых горит огонь живого чувства?.. Часто, раз только речь касается чувства, получается полная разногласица, но наученным опытом нельзя бояться ее, — всегда из массы найдутся немногие, которым чувство укажет правду, и на этой правде закопошится общий интерес, а за ним найдутся и средства, и все необходимое.

Бесспорно, за эту четверть века много уже сделано для дела старины, но еще гораздо больше осталось впереди работы самой тонкой, самой трудной. И не такое дело старины, чтобы сдать ее в археологические и архивные комиссии и справлять триумф ее пышными обедами археологических съездов, да на этом и почить.

Все больше и больше около старины накапливается задач, решить которые могут не одни ученые, но только в единении с художниками, зодчими и писателями.

В жизни нашей многое сбилось, спутались многие основы. Наше искусство наполнилось самыми извращенными понятиями. И старина, правильно понятая, может быть доброй почвой не только научной и художественной, но и оплотом жизни в ее ближайших шагах.

Я могу ожидать вопрос: "вы дали неутешительную картину дела старины русской, но что же вы укажете, как ближайший шаг к нравственному исправлению этого сложного дела?"

Что же мне оставалось бы ответить на такой прямой вопрос? Ответ был бы очень старый: пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселою, красивою жизнью.

Пора всем сочувствующим делу старины кричать о ней при всех случаях, во всей печати указывать на положение ее. Пора печатно неумолимо казнить невежественность администрации и духовенства, стоящих к старине ближайшими. Пора зло высмеивать сухарей — археологов и бесчувственных педантов. Пора вербовать новые молодые силы в кружки ревнителей старины, пока, наконец, этот порыв не перейдет в национальное творческое движение, которым так сильна всегда культурная страна.

1903

Не так давно в печати были приведены правдивые слова де Буалье о новом направлении искусства к жизни, к природе.

"Нас утомил культ нереального, абстрактного, искусственного... И мы вырвались на открытый воздух... И у нас из груди исторглись крики восторга и упоения: как хороша природа! как красива жизнь!" — говорил де Буалье.

Действительно, теперь везде, то там то тут, раздается этот возглас: "как хороша природа"... Мы отбрасываем всякие условности, забываем недавнюю необходимость смотреть на все чужими глазами и хотим стать к природе лицом к лицу, в этом индивидуальном стремлении приближая наше время, вернее сказать, близкое будущее к одной из хороших прошлых эпох — к эпохе Возрождения.

Художники настоящего времени горячо стремятся к передаче природы; стараются они взглянуть на природу, на жизнь глазом индивидуальным, и в разногласии их воззрений передаваемая природа начинает жить. Истинное упрощение формы (без символического шаблона и академической утрировки), восхищение перед легким решением задачи приближения к впечатлению природы, прозрачность фактуры, — именно высокая техника, даже незаметная в своей высоте, все эти основания лежат в корне новейших художественных стремлений всех родов искусства.

Этим стремлением к природе, конечно, не исключается творчество историческое, ибо мы любим его, не постольку, поскольку оно является приятным патриотическому чувству, поучительным или же иллюстрацией исторического источника, а оно дорого нам и ценно также потому, что дает нам художественную концепцию несравненно самобытной былой природы и восстановление человеческой личности, несмотря даже на сильную неуравновешенность многих сторон ее, все же может быть полнейшей при большей простоте.

Стремление к природе, натурализм, само собой разумеется, понимается не только в широком значении, в смысле стремления вообще к жизни, но и в буквальном, являющемся неизменным следствием первого понимания, то есть в смысле стремления к самой канве жизни, стремления в природу. Беру первый попавшийся пример. На недавней Парижской выставке одним из любопытных уголков ее была швейцарская деревня. Интересно было наблюдать впечатление, производимое ею на большинство публики; лица как-то успокаивались, улыбки делались менее искусственными и напряженными и часто тянулась рука снять шляпу — это хороший жест! Искренно является он только перед величавым, — снимем ли мы шляпу перед стариком, в храме ли или перед морской тишиной. Раздавались голоса: "и не подумаешь, что в центре Парижа!" — "Даже воздух словно бы чище кажется", слышалось на различных наречиях, а ведь это была лишь грубая подделка, так что подобные отзывы можно было объяснить лишь чрезмерной окружающей суетой и усиленным над природой насилием.

Сильно в человеке безотчетное стремление к природе (единственной дороге его жизни); до того сильно это стремление, что человек не гнушается пользоваться жалкими пародиями на природу — садами и даже комнатными растениями, забывая, что подчас он бывает также смешон, как кто-нибудь, носящий волос любимого человека.

Все нас гонит в природу: и духовное сознание, и эстетические требования, и тело наше — и то ополчилось и толкает к природе, нас, измочалившихся суетой и изверившихся. Конечно, как перед всем естественным и простым, часто мы неожиданно упряимся; вместо шагов к настоящей природе стараемся обмануть себя фальшивыми, нами же самими сделанными ее подобиями, но жизнь в своей спирали культуры неукоснительно сближает нас с

первоисточником всего, и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько разнообразных призывов к природе.

Парадоксальной должна представляться пресловутая нелюбовь Джона Рескина к железным дорогам. Его требование сообразоваться при всяких сооружениях с окружающим пейзажем могло казаться странным, но в этом последнем желании нет ничего излишнего; наоборот, теперь оно должно считаться практически необходимым и неперенным условием во всех проявлениях созидательной работы.

Различные заботы о здоровье природы уже давно признаются насущными; мы разводим леса, углубляем реки, удобряем землю, предотвращаем обвалы — все это требует усиленной работы и затрат. Но целесообразное пользование пейзажем, природою тоже ведь одно из существеннейших условий ее здоровья, и притом для выполнения этого условия ничего не надо тратить, не надо трудиться, не надо "делать", надо только наблюдать, чтобы и без того делаемое совершалось разумно. И для осуществления этой задачи прежде всего необходимо сознание, что самый тщательный кусок натурального пейзажа все же лучше даже вовсе не самого плохого создания рук человека. Всякий клочок природы, впервые подвергающийся обработке рукою человека, непременно должен вызывать чувство, похожее на впечатление потери чего-то невозвратимого.

И надо сказать, что требования заботливого отношения к природе и сохранения ее характерности нигде не применимы так легко, как у нас. Какой свой характер могут иметь многие европейские области? Придать характер тому, что его утратило, уже невозможно. А между тем что же, как не своеобразие и характерность, ценно всегда и во всем? Не затронем принципа национальности, но все же скажем, что производства народные ценятся не столько по своей исключительной целесообразности, сколько по их характерности.

Русь только начинает застраиваться. Русь начинает менять первобытное хозяйство на новейшее. Русь теперь вводит разные важные статьи благоустройства; многочисленные ее пункты еще, по счастью, сохранились девственными и характерными. Ничего там не нужно ни сносить, ни переделывать, но лишь наносить и делать, имея в виду никаких ни трудов, ни денег, — настоящее соображение экономии природой.

Указание на многие девственные места Руси вовсе не следует понимать в том смысле, что вопрос экономии природой у нас находится в благополучном состоянии. Конечно, у всех бездна разбросанных по всей будничной жизни примеров холодной жестокости при обращении с природой, жестокости необъяснимой, доходящей до нелепости.

К сожалению, соображения бережливого отношения к природе нельзя ни навязать, ни внушить насильно, только само оно может незаметно войти в обиход каждого и стать никому снаружи незаметным, но неперенным стимулом создателя.

Скажут: "Об этом ли еще заботиться? На соображения ли с характером природы тратить время, да времени-то и без того мало, да средств-то и без того не хватает".

Но опять же и в третий раз скажу, ибо вопрос о расходах настолько всегда краеугольный, что даже призрак его нагоняет страх, средств это никаких не стоит, а разговор о времени и лишнем деле напоминает человека, не полощущего рта после еды по недостатку времени. Вот если будут отговариваться прямым нежеланием, стремлением жить, как деды жили (причем сейчас же учинят что-либо такое, о чем деды и не помышляли), тогда другое дело. Тогда давайте рубить леса, класть шпалы по нарочито лучшим местам, тогда как так же удобно в смысле практическом было бы их положить в соседнем направлении; давайте в Архангельске ставить колоннаду, а в Крыму тесовые срубы; тогда... мало ли что еще можно придумать подходящего для последнего образа мысли.

В то время, когда усиленно начинают искать орнамент и настоящий стиль, когда,

вдумавшись в памятники древности, поиски за орнаментом обращаются к той же окружающей природе; когда своеобразность в человеке начинает цениться несравненно, тогда не заботиться о природе, факторе этой своеобразности, грешно.

Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего знать этот предмет заботы. Знаем ли мы, русские, нашу природу? Возьмем среднее и принуждены будем сказать: "не знаем".

"Хотим ли мы знать пашу природу?"

"Этого не заметно".

"Принято ли у нас знакомиться с нашей природой?"

"Нет, не принято".

После всех этих неблагоприятных заключений попробуем найти смягчающее вину обстоятельство.

"Возможно ли у нас ознакомление с природой?" Ответ: "с трудом". Правда, последний ответ умаляет тяжесть указанных признаний, но, с другой стороны, ведь только спрос создает предложение.

"Почему у вас такая неприспособленность ко всему?" — спрашиваете вы при случайной остановке на захолустном постоялом дворе, раскинутом в превосходнейшей местности. "Кормилец, да нешто с нас спрашивает кто-нибудь? Нетшо кому это надобно? Вот ты проехал, да недели две назад приказчик из экономии со станowymi останавливались, а теперь и неведомо, когда гостя дождешься". — "Почему вы не хотите ознакомиться с внутренними областями?" — спрашиваете любителя путевой жизни. "Да что вы, хотите что ли меня клопам на растерзание отдать? Или чтобы цинга у меня сделалась?"

Всегда жалуются обе стороны друг на друга. И теперь, когда всмотритесь во все эти строго организованные поездки под всеми углами и по всем радиусам Европы, то прямо смешными становятся наши два-три общепринятых маршрута, от них же первые "по Волге" и "по Черному морю", и полное пренебрежение ко многим остальным, в самом деле прекрасным.

И хоть бы что ни говорилось, за исключением одного процента, все все-таки поедут по избитым путям; никаких приспособлений для более разнообразных поездок все-таки сделано не будет; никто на пешеходные путешествия (столь принятые по Европе) не дерзнет, и все-таки мы будем ощущать слишком мало стыда, слыша, что некоторые иностранцы видели Россию лучше, нежели исконные ее жители, имеющие притом возможность такого ознакомления.

Правда, от всякого смельчака, отважившегося отступить от традиций и пробраться куда-нибудь в укромный, обойденный железными путями уголок, вы наслышитесь всегда прямо невероятных рассказов о трудностях пути его (и мне лично приходилось испытывать немало курьезов даже при следовании довольно обыденным маршрутом), но почти без исключений вторая часть рассказа — впечатление природы, быта и древности, с избытком покрывает первую. И немудрено! Возьмите любую область. Возьмите суровую Финляндию с ее тихими озерами, с ее гранитами, молчаливыми соснами. Возьмете ли Кивач и бодрый северный край! Возьмете ли поэтичную Литву или недавние твердыни замков балтийских — сколько везде своеобразного! А Урал-то! А протяжные степи с отзвуками кочевников! А Кавказ с милою патриархальностью еще многих племен. Да что говорить о таких заведомо красивых местах, когда наши средние губернии подчас неожиданно дают места красоты и характера чрезвычайного. Вспомним озерную область — губернии Псковскую, Новгородскую, Тверскую с их окрестностями Валдая, с их Порховскими, Вышгородами, с их привольными холмами и зарослями, смотрящими в причудливые воды озерные, речные. Как много в них грустной мелодии русской, но не только грустной и величавой, а и звонкой и плясовой, что гремит в здоровом, рудовом бору и переливается в золотых жнивьях.

Обок с природой стоит любопытная жизнь ее обитателей. Сбилась уже эта жизнь; разобраться в ней уже трудно без книжных указаний, но все же для пытливого уха среди нее всегда зазвучат новые струны и дальнорский глаз всегда усмотрит новые тона.

Много на Руси истинной природы, надо беречь ее.

"У вас много своеобразного, и ваш долг сохранить это", — твердил мне на днях один из первых художников Франции.

Говоря о заботливом отношении к природе, попутно нельзя не сказать тут же двух слов о сохранении мест, уже освященных природой, о сохранении исторических пейзажей и ансамблей.

О сохранении исторических памятников теперь, слава Богу, скоро можно уже не говорить, на страже их скоро станут многолюдные организации с лицами просвещенными во главе. Но мало охранить и восстановить самый памятник, очень важно, насколько это в пределах возможного, не исказить впечатления его окружающим.

Не буду говорить о таких мелочах, как надстройка над древней крепостной башней белой отштукатуренной колокольни (кажется, в Порхове), но, например, сооружение Больших Гостиных рядов в Москве — дело прекрасное, но отступи оно еще дальше от Кремля, и Лобное место не стало бы казаться плевательницей, а Василий Блаженный стоял бы много свободнее. И поэтому каждый раз, проезжая мимо Рядов, невольно бросаешь недовольный взгляд на них.

Всякое общение с природой как-то освящает человека, даже если оно выражается в такой грубой форме, как охота. Охотникам знакомо тягостное чувство при отъезде из природы; охотник скорей других прислушивается в городе к далекому свистку паровоза и вздохнет не о том, что лишняя птица остается живою, а почему не он уезжает в природу.

Всегда особенно много ожидаешь, и притом редко в этом ошибаешься, когда встречаешься с человеком, имевшим в юности много настоящего общения с природой, с человеком, так сказать, вышедшим из природы и под старость возвращающимся к ней же.

"Из земли вышел, в землю уйду".

Слыша о таком начале и конце, всегда предполагаешь интересную и содержательную середину и редко, как я сказал, в этом обманываешься.

Иногда бывает и так, что под конец жизни человек, не имеющий возможности уйти в природу физически, по крайней мере, уходит в нее духовно; конечно, это менее полно, но все же хорошо заключает прожитую жизнь.

Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище, и притом уж не знаю, нашептывает ли это мне всегда целесообразная природа, или потому, что они здоровее духовно, но они обыкновенно лучше распределяют свои силы и реже придется вам спросить вышедшего из природы: зачем он это делает, тогда как период данной деятельности для него уже миновал?

"Бросьте все, уезжайте в природу", — говорят человеку, потерявшему равновесие, физическое или нравственное, но от одного его телесного присутствия в природе толк получится еще очень малый, и хороший результат будет лишь, если ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно красоты ее, только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную энергию.

Тем и важно, что искусство теперь направляется усиленным ходом в жизнь, в природу и толкует зрителям и слушателям разнообразными наречиями красоту ее.

Но нельзя исключить из красоты и жизнь вне природы.

Пусть города громоздятся друг на друга, пусть они закутываются пологом проволочной паутины, пусть на разных глубинах шныряют змеи поездов и к небу вавилонскими башнями несутся стоэтажные дома. Город, выросший из природы, угрожает теперь природе; город, созданный человеком, властвует над человеком. Город в его теперешнем развитии уже прямая противоположность природе; пусть же он и живет красотой прямо противоположно, без

всяких обобщительных попыток согласить несогласимое. В городских нагромождениях, в новейших линиях архитектурных, в стройности машин, в жерле плавильной печи, в клубах дыма, наконец, в приемах научного оздоровления этих, по существу, ядовитых начал — тоже своего рода поэзия, но никак не поэзия природы.

И ничего устрашающего нет в контрасте красоты городской и красоты природы. Как красивые контрастные тона вовсе не убивают один другого, а дают сильный аккорд, так красота города и природы в своей противоположности идут рука об руку и, обостряя обоюдное впечатление, дают сильную терцию, третьей нотой которой звучит красота "неведомого".

1901

Синодик погибшей старины вырастает.

Показали снимок незнакомой церкви. "Откуда это?" — "Вот ваш любимый Спас в новом виде".

Сделался некрасивым чудный Нередицкий Спас. Нынче летом его переделали. Нашли мертвую букву Византии, отбросили многое, тоже веками сложенное.

На пустом берегу, звеном Новгорода и старого Городища, стоял Спас одинокий. Позднейшая звонница, даже ненужный сарайчик пристройки, даже редкие ветлы волховские, все спаялось в живом силуэте. А теперь осталась Новгородская голова на чужих плечах.

Семь лет назад писал я о будущей реставрации Спаса. В 1904 году дошли вести, что Спаса обезглавят, и я писал: "ужаснутся мужи новгородские, если на любимом святочтимом Спасе засверкает новенький византийский котелок".

Кора времени миновала главу; опустилась на плечи. Ободраны милые северу четыре ската крыши, вызваны на свет уже чуждые нам полукруглые фронтоны. По карнизам появились острые сухарики. Откуда они? Зачем? Кто их навязал реставратору, вопреки чутью художника? Даже карнизик барабана главы усеяли эти ненавистные острия.

Зачем полумеры? Отчего пощадили главу? Почему не перекрыли ее византийским фасоном? Зачем не снесли позднюю колокольню?

Если во имя буквы нарушать вековую красоту, надо сделать это обстоятельно, во всем пределе изуверства. Достанем из пыли греческий клир. Перешьем из саккоса Адриана портище Алексея Михайловича.

Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей старины. Незаметно близится конец ее. Запечатлейте чудесные обломки для будущих зданий жизни.

1906

При министерстве внутренних дел, кажется, начнет заседать комиссия по выработке положения об охране памятников старины. Трудное и высокое дело — найти формулу защиты лучших слов бывшей культуры. Некоторые члены комиссии могли бы быть прекрасными хранителями старины во всем ее художественном понимании, но удастся ли им повлиять на коллегиальное решение и установить почти немислимую букву закона — весьма неизвестно.

Результатом трудов комиссии могут быть точные списки памятников старины, прекрасно отредактированные правила, широкие циркуляры от министерства по всем областям и губерниям... Но чем зажжется в сердцах толпы горячее стремление оградить красивые останки от разрушения? Каким пунктом правил может быть разъяснено всем народным массам, всем городским хозяйствам, что в разрушении памятников понижается культура страны?

Разойдется комиссия; в чьих же руках останутся прекрасные правила? В чьих портфелях потонут циркуляры? В каких шкафах будут погребены точные и длинные списки старины?

Будет ли комиссии предоставлено полное право также назвать людей, полезных такому сложному художественному делу?

О памятниках старины теперь много пишется. Боюсь даже, не слишком ли много. Как бы жалобы на несчастья памятников не сделались обычными! Как бы под звуки причитаний памятники не успели развалиться. Правила, правда, полезны для охраны старины, особенно сейчас, когда многие остатки древности дошли до рокового состояния, но еще нужнее наличность людей, наличность настоящей преданности и любви к делу.

Помню значительное по смыслу заседание Общества Архитекторов, посвященное несчастливой реставрации Нередицкого Спаса в Новгороде. Помню, как, оплакав Спаса, начали мечтать о возможных правилах реставрации и кончили утверждением, что каждая реставрация есть своего рода художественное произведение. Каждая реставрация требует кроме научной подготовки чисто творческого подъема и высокой художественной работы. При этом покойный Н. В. Султанов, человек большой культурности, выразился совершенно определенно, что обсуждать реставрацию на основании общих правил нельзя и что каждый отдельный случай требует своего особого обсуждения. Всем было ясно, что имеет значение не то, каким путем будут обсуждаться реставрации, но кто именно будет это делать.

Слов нет, на предмет обсуждений очень хороша коллегия. Но главное несчастье коллегии в том, что она безответственна. Вспомним разные неожиданности закрытых баллотировок; вспомним, как никто из членов не примет на себя произошедшей досадной случайности. Процент случайностей в коллегиальных решениях прямо ужасен. Вся ответственность тонет в многолик, многообразном существе, и коллегия расходится, пожимая плечами и разводя руками.

В коллегиальных решениях отсутствует понятие, самое страшное для нашего времени, а именно: ответственность личная, ответственность с ясными несмыаемыми последствиями.

Личная ответственность необходима. Начинателю — первый кнут и первая хвала. И можно найти таких людей, которые имеют силы и мужество принять высокую ответственность охраны заветов культуры, памятников старины. Имеются люди, нужные для разных веков древности.

Если есть поборники красоты старины, то кто же будет их слушать и слушаться?

Какими путями можно проникнуть в душу "обывателя", для которого памятник есть только старый хлам? Какими ключами открывать душу ста миллионов людей?

Полные непростительных мечтаний, еще недавно рассказывали мы "повести лирические".

Мы говорили: "Россия с особенною легкостью всегда отказывается от прежних заветов



культуры. Пора уже понять, какое место занимает старина в просвещенном государстве. Пусть памятники стоят не страшными покойниками, точно иссохшие останки, никому не нужные, сваленные по углам соборных подземелий. Пусть памятники не пугают нас, но живут и вносят в жизнь лучшие стороны прошлых эпох. Больно смотреть, как памятники теряют всякую жизненность; любимый, заботливо обставленный дедовский кабинет обращается в пыльную кладовую хлама. Мы почитаем близких покойных. Мы все-таки заботимся почитать их памятниками, некоторое время мы желаем достойно поддержать памятники и все, принадлежавшее нашим близким покойным. Неужели не ясно, что памятники древности, в которых собралось все наследие былой красоты, должны быть еще более близкими и ценными в нашем представлении?"

Если душа семьи еще жива в нас, то неужели душа родовая уже умерла совсем? Неужели все соединяющая, всеобъемлющая душа земли не подскажет народам значение наследства старины? Это не может быть; национализм, правда, не осилил задачу значения древности, но душа земли более глубокая, нежели дух нации, имеет силы отстоять свои сокровища, — сокровища земли, пережившей многие народы.

Не в сумраке темниц должны памятники доживать свой век, они должны светить всей праздничной жизни народа.

Дайте памятнику то "чистое" место, которое он имел при создании — и к такому живому музею пойдет толпа. При оживлении памятников оживут и тысячи музейных предметов и заговорят с посетителями совсем иным языком, они сделаются живыми частями целого, увлекательного и чудесного. Не опасаясь педантичной суши, пойдет молодежь к дедовскому наследию, полная надежды, заглянет она в чело его, и мало в ком не шевельнутся прекрасные чувства раннего детства, потом засыпанные чем-то очень "нужным".

Около старины нужны чуткие люди. Кроме учреждений "археологических" должны появляться общества друзей старины. Верю, что такие общества народятся скоро.

Городскому Управлению Новгорода, где есть очень богатые промышленники, скажем словами из одной моей старой статьи о старине: "добрые люди, не упустите дело доходное. Чем памятник сохраннее, чем он подлиннее — тем он ценнее. Привлеките к памятнику целые поезда любопытствующих, Бог да простит вас, извлекайте из памятников выгоду, продавайте их зрелища, сделайте доступ к ним оплаченным. Кормите пришедших во имя древности, поите их во имя старины, зазывайте небылицами красивыми, украшайте каждое место легендами (издатели, слушайте!), громоздите эпизоды любовные, устрашайте рассказами жестокими, распалайте богатствами грабежными, торгуйте, продавайте и радуйтесь!

(Освяти, отче, средство!) Обложите памятники арендами, запирайте от проходящих затворами, берегите их честно и крепко, как бумаги процентные.

В памятниках вложены капиталы великие; в умелой руке в большом барыше пойдет памятник; опасны дела торговые, а памятник, что вино, чем старее, тем ценнее!

Чем до сердца доходчивее, тем и думайте; но старину сберегите!"

1908

У нас мало музеев, но и из них немногих большинство поражает странностями. Один из самых странных — музей Академии Художеств.

Не буду касаться нижнего этажа скульптуры, где во мраке, в пыли и грязи заперты герои и боги. Скажем сейчас о картинной галерее.

Неразумный вопрошатель может вообразить, что в системе галереи Академия стремится представить русскую школу, хотя бы в немногих главных образцах.

Ничуть не бывало. Где тут русская школа, когда в музее нет ни Сурикова, ни Куинджи, ни Васнецовых, ни Нестерова, ни Врубеля, ни Рябушкина... Нет, русская школа тут ни при чем.

Может быть, самодовлеющая "новая" Академия после старопрофессорских вещей начала собирать картины только своих лучших молодых? Нет и нет. Нет ни Малявина, ни Руцица, ни Сомова, ни Грабаря, ни Кардовского...

Даже большинство конкурсных картин миновало музей Академии. Нет ни формальной основы, ни любви, ни заботы. В любой частной коллекции вещи размещаются в лучшем порядке, с большой заботой освещения и соседства. Ни порядка, ни каталога, ни снимков в музей Академии, для иностранцев даже невероятно. Есть только хранители и служители.

Темница искусства доподлинная; к тому же две трети года закрытая щитами выставок. Такое посмешище музея надо прекратить. Надо перенести выставки в иное помещение или выстроить его новое в академическом саду, где кроме сторожей и Зелемана никого не видно, или лучше перестроить для этого один из корпусов квартир. И без того останутся целые корпуса и этажи квартирные.

Академия справедливо гордится Кушелевской галереей, но ведь это дар, это чужие труды, чужая преданность искусству. Многим ли может гордиться "новая" Академия среди своих собраний?

Строгая система, широкая справедливость, заботливое устройство, примерное содержание — ничего этого нет в музее Академии. Нет даже произвола личности, иногда оправдывающего любительские собрания.

Впрочем, скажут, зачем говорить о ногах, когда все туловище Академии теперь над пропастью.

# Голгофа искусства

Странные легенды живут около многих музеев искусства. Трудно поверить, чтобы так высока, так тяжела была Голгофа искания красоты. Злоба, зависть, двуличие собираются именно там, где менее всего им уместно. Что им, темным, художество? Венец жизни им, темным, должен быть далек.

Вот еще один случай с музеем. Еще рассказ; его с недоверием будут передавать будущие люди.

Уже писал про музей княгини М. К. Тенишевой. Многолюбовно составлялось это собрание. Сколько красивых вещей было спасено от гибели и от вывоза в чужие руки.

Наконец собрание перешло границы любительства, явилась возможность перевести его в систему музея. Утвердилась мысль отдать собранное богатство городу Смоленску.

Первым номером музея должна была стать одна из башен города, одна из обреченных на медленную казнь разрушением. Башня должна была быть укреплена и приспособлена внутри, внешность должна была остаться неприкосновенной. Удачная мысль!

Город не отдал башню свою под музей. Город предпочел разрушать каменное ожерелье Смоленска. Идти навстречу вечному украшению края город отказался. Говорят, запретил умный археолог. Ни один голос не поднялся против этого запрещения. Город далек был понять значение дара.

Княгине пришлось на своей земле за городской чертой выстроить дом и туда перенести свое хранилище.

Не успели расставить музей в новом месте, как узнали, что власти не отвечают за сохранность его.

Неутомимо везет княгиня музей в Париж на время. Кроме заботы сохранить является мысль показать красоту русского искусства там, где к нему больше внимания. Не в пример нашим городам правительство Франции приглашает княгиню выставить музей в Лувре, в павильоне Marsan. Там он и теперь. Успех музея известен. Лучшие издания, лучшие люди оценили его.

И тогда, именно тогда Смоленск нашел время снова выступить против своего музея. Нашелся "проникновенный" смоленский житель и начал писать о "разграблении" смоленских ризниц. В таком деле обвинил он и княгиню. Именно теперь нашелся человек пишущий: "еще захочет ли город принять этот дар". Да, да — так было написано о лице, спасшем столько предметов искусства от гибели.

Какое чудовищное недомыслие! Кошмар, приведший в ужас иностранцев. Чего же ждать от России?

И город не выбросил из своей среды безумца. Город молчаливо согласился и с этой выходкой. Так нашел время город Смоленск отвергнуть щедрый дар. Дар, которому всякий культурный центр отвел бы лучшее место и гордился.

Как близка Финляндия. Как умеют там ценить жертвы искусству. Но не у нас.

На всякое культурное дело мы сумеем навести все темное; тяжелой рукой мы прикроем, если что светится.

Паутина трудностей висит над всяким делом искусства. Я писал о собирательстве темном — собирательстве гномов, оно идет в норах и по всей Руси. Из светлого стремления мы сделали тайное дело; мы загнали светочи в глубину подвалов.

Будет день — и горько пожалеет Смоленск о потерянном даре. И вообразит кто-нибудь, не придумал ли я этот рассказ.

## Обеднели мы

Обеднели мы красотой. Из жилищ, из утвари, из нас самих, из задач наших ушло все красивое. Крупицы красоты прежних времен странно остаются в нашей жизни и ничто не преобразуют собою. Даже невероятно, но это так. И обсуждать это старо.

Умер, умер великий Пан!

Полные мечтами о красоте, являются груды изданий, живут десятилетия; на том же слове и умирают. А самодовольное сознание наше молчит по-прежнему. По-прежнему удивленно-насмешливо обзираем мы истинные попытки украшения жизни и при случае плохо встречаем беспокойных искателей. Нескончаемо медленно вырастают ряды любителей искусства.

У нас в России.

Говорить так нелегко. Необходимо почувствовать иное — без ужаса сознания, что старая Русь по своему художественному смыслу была ближе нас современному Западу. Необходимо, но можно ли?

Стыдно: в каменном веке лучше понимали значение украшений, их оригинальность, бесконечное разнообразие. Не для нашего безразличия расцвели красоты восточных искусств. Драгоценная струя Возрождения нам не ближе пестрой шумихи. В хранилищах и в собраниях среди омертвелых красивейших форм, и даже не очень давних, приходят грустные мысли. Лучше и не вдумываться в украшения древности... Проще сожалеть далекое, дикое время и кичиться "прогрессом". Сколько нелепого иногда в этом слове! Что же и требовать с нас? Справив тысячелетие своего царства, мы еще не научились достойно почтить даже красоту старины, беречь ее хотя бы по значению историческому, если пути искусства нам непостижимы.

Трудно добиться в России толка в деле старины; новые шаги тяжелы тем непомернее.

Для нас красота — звук пустой, непонятый и стыдный, что-то неподобающее? Не нужна красота там, где живет великое уныние нашего времени — всевластная пошлость, где пошлостью и видят и чувствуют, где на все необычное опускаются тысячи рук. Не сказать ли примеры?

Не от столиц ждать красоты. Не от их сиротливых музеев, не от торжищ искусства.

Все красивое там теперь гость случайный.

В этих истоках грязнится живая вода, а чем она нежданная из тишины и покоя — от самой земли. Вершина и корень. Венец и основа засветят свет красоты на гибель середине.

Нужное дело. Новые шаги, подвиги нужны, как бы затруднены они ни были.

Последнее время и у нас есть попытки пробить свежие родники. И все поновители нашей жизни достойны великой чести. Уже несколько лет наблюдаю такой родник. Как и должно быть в живом деле, в нем нет подневольных путей. Почтена старина лучшим вниманием: в ней найдена живая сила — сила красоты, идущей к новизне, и основы которой соткали для кристаллов векового орнамента все царства природы: звери, птицы, камни, цветы... Сколько очаровательных красок, сколько новых неиссякаемых линий!

Украшателю жизни не материала искать: искать чистоту мысли, непосредственность взгляда и проникновения в благородство старых форм.

И далеко должно быть вдохновляемое примером старины от разврата стиля, по близорукости нашей часто называемого "новым".

В роднике — о нем думаю — работают друзья искусства, полные лучшими мыслями.

Приходили к нему и достойнейшие наши художники. И Врубель, тончайший мастер, приходил к нему; были у него и Малютин и Стеллецкий и другие, интересные. Близки ему работы покойных художниц Поленовой и Якунчиковой. Создает родник и новые силы; им

крепнут и Зиновьев и Бекетов, талантливая молодежь. Борщевский, оказавший такую услугу друзьям старины русской своими снимками и так мало отмеченный нашим официальным искусством, нашел в роднике достойную оценку. Такое дело радует.

В Кривичах Смоленских на великом пути в Греки этот родник. Там многое своеобразно. Дело широко открыто всему одаренному, всем хорошим поискам. Слышатся там речи не только про любимцев минуты, но и про многих других, чьи имена случайно сейчас не на гребне волны. Княгиня Тенишева, Мария Клавдиевна, стремится истово ставить дело в своем Талашкине под Смоленском. От близости такого центра художества обновляется интерес и к самому старому городу Смоленску.

Покойный Сизов, давний друг Талашкина, всегда отзывчивый и живой, хорошо сказал мне про начало движения. Редактор "Мира Искусства" С. П. Дягилев, сообщая об изделиях мастерских княгини, чутко отметил свое впечатление. "У Талашкина есть будущее", — еще недавно говорил мне М. В. Нестеров.

Главное: нет в Талашкине тягости заклятого круга. Пусть неизбежны иные увлечения, даже отвлечения: они всегда в искусстве, но чувствуется, насколько дело гибко, насколько способно принять все достойное, перебродить в нем и расти.

Искренняя любовь к искусству должна быть, чтобы поднять и установить такое художественное хозяйство. Устройство мастерских, школ и музея сложно и хлопотливо. Такая любовь есть у Марии Клавдиевны. Долгое время она жила в искусстве. Удалось ей уже несколько крупных задач.

В Русском музее в Петербурге ее отдел акварели русской. Только благодаря заботам княгини музей не остался самодовольно чуждым таким художникам, как Врубель, Сомов и целый ряд превосходных финляндцев. Хорошее собрание; оно постоянно растет новыми покупками. Но мысль первоначальная была еще полнее; думалось о целом собрании образцов всей истории акварельной живописи Запада. Думалось и осуществилось уже это, но задача оказалась не по силам обширна уставу музея. И распалась мысль о широко сложенном и нужном столице труде.

Первая помогла княгиня появлению "Мира Искусства". Сколько работы было об удобстве творчества многих художников.

Наконец, теперь окончено собрание великолепного музея художественно-прикладного и этнографического. И опять музей отдается на общее пользование. Радость будет Смоленску. Музей из Талашкина уже перенесен в город. Многие отличные вещи заботливо собраны в нем. Замечательны и шитье, и резьба, иконы, и ткань, и металл. Объединяет их личный вкус, не только буква науки; субъективная основа всегда дает отпечаток уюта собраниям. Между старинными вещами займут должное место работы новейших мастеров, несравненные уники Лялика, Фаллиза, Галлэ, Колонна, Тиффани и других бесподобных. Конечно, Смоленск уже покосился на дело и предпочел выгребать песок из-под стен и башен, из-под своего знаменитого ожерелья, но сохранить одну из них для музея оказалось негодим. Случилось это к добру. Крепче музею стоять на своем дворе за ясным уставом — обороною от всяких случайностей нашей "культуры".

Без устали поднять столько дел, дорогих искусству по нашему времени просто не бывало, можно только особою склонностью к искусству и многолетней подготовкой. И вот, когда видишь в Талашкино радость и от курганной эмали, и от гребня Лялика, от новейшего образца переплета, от миниатюры, от лиможей и клуазонне, от резного складня, от шитья убора — от самых разных красивых вещей, внутренне радуешься за самое дело.

Значит, оно жизнеспособно.

В Талашкине неожиданно переплелись широкая хозяйственность с произволом художества;

усадебный дом — с узорчатыми теремками; старописный устав — с последними речами Запада. Многое непримиримо. И в непримиримости этой особый пульс, который выявляет нашу многогранную жизнь.

Этот пульс во всех силах Талашкина. Особый уклад получают и сельскохозяйственная школа, и художественные мастерские. В учениках и молодых мастерах пробуждается пылкий взгляд. На окрестное население, всегда близкое художественному движению Талашкина, ложится вечная печать вечного смысла жизни. Тысячи окрестных работниц и работников идут к Талашкину — для целой округи значение огромное; так протянулась бесконечная паутина лучшего заживления.

У священного очага вдали от городской заразы творит народ вновь обдуманые предметы без рабского угодства, без фабричного клейма, творит любовно и досужно. Снова вспоминаются заветы дедов и красота и прочность старинной работы. В молодежи зарождаются новые потребности и крепнут ясным примером. Некогда бежать в винную лавку, и без нее верится празднику, когда кругом открывается столько истинно занятого, столько уносящего от будней.

Сам Микула вырывает из земли красоту жизни. Запечатлеется красота в укладе деревни и передается многим поколениям. Опять все мелочи делания может порыть сознание чистого и хорошего. Опять может открыться многое за всякой тяготой.

Ведь это нам нужно. От большой жизни искусства, от новейших и сильных кружков до захоlustья деревни — везде нужна почва желанья и стремленья. А препятствий без числа.

Мечты о ясном подходе к явлениям жизни, рожденным тайнами природы, бессознательно, как природа, красивы и бездонно велики смыслом красоты. Чтобы увидеть, надо омыть глаза чистым искусством, без учений, без границ и условного. Увидевший не вернется более к обыденному.

Присматриваюсь к Талашкину.

Видно, душевную потребностью, сознанием твердой и прочной почвы двинулось дело талашкинских школ и музея.

После знакомства с творческими путями лучших мастеров всех времен, после юбилейных сроков ученья Рескина смешно говорить о достоинстве техники при развитом творчестве. Но у нас, где промышленник и художник разъединены так часто, где само соединение этих слов бесконечно слогами и темно значением, у нас, где носящие этот длинный титул множатся, но имена свои в истории искусства почти не заносят, — у нас еще можно хвалить сознательное творчество в прикладной технике. В этом же можно хвалить и Талашкино.

В нем нет таинства строгих авгуров. Все дали искусства видны работникам мастерских. Домовитый очаг, полный внимания к лучшим современным изданиям, к работам новых художников, к трепету спора выставок, — всем близок. При выполнении избранного мастерство у всякого ученика составляет свое Святая Святых: альбомы, пробы, копии и сочинения. Этим самым, помимо природных способностей вышивальщиц и резчиков, в работах учеников чувствуется часто творец техники, понимающий и оценивший качества своего материала. Слышат ученики об единении ремесла и творчества не устно только, но ведут их к этому сознанию и делом. Княгиня сама применяет орнамент в разных материалах, подавая пример. Художники, бывавшие в мастерских, тоже не остаются чуждыми разным производствам. А ученики в работе технической помнят о творчестве. И заметно, что для них работа не бездушна идеалом, "без сучка и задоринки", но близко сознательна в самих мелочах и случайностях, повышающих предметы искусства. Работа с натуры ведет их к тому же.

Смягчилась ступень высших и низших. Ясно ученикам, что прежде всего и дороже — искра художника и только из нее идет истинное совершенство техники. Много недоразумений на этой почве. То же самое, казалось бы всем известное, вспоминаю, говорил мне и А. И. Куинджи, тот

самый А. И. Куинджи, которого почему-то не хотели понять и считают врагом "прикладного" искусства. А он, как художник, конечно, слишком высоко ставит творчество, чтобы допустить клеймо ремесла.

Творческую сторону дела, несомненно, предпочитает требованиям из магазина о повторении проданных предметов и княгиня Мария Клавдиевна. Вместо ответа на многое она находит единственно верным давать вещи в новых рисунках. Сама обстановка дела со сбытом в магазине не может удовлетворить ее, и она ищет более подходящие условия выставки изделий. Такая боязнь опошления тоже хороший залог. В стремлении к совершенству и разнообразию ученикам дается прочное ограждение от будущих искусств жизни.

С годами добром помянут вышедшие из Талашкина свое школьное время.

-----

Ряд острых воспоминаний.

Фигурные, звериного и цветочного рисунка, ворота и столбы. Сказочные теремки. Вышиванья. Чаща узоров: острые "городки", пухлая "настебка", узорно-прозрачная "рединка", "набор Москва", "строчка", "кресты"... Сукманина, редно-дерюга, бранина, нацепина... — ткани простые, на глаз бархатистые, мягкие. Красильня с таинством красок, пучки травы и кореньев, древняя старуха мордовка в стародавнем наряде, ведунья состава прочных цветов.

Хоры. Музыка. Событие деревни — театр. И театр затейный. Вспоминаю приготовления к "Сказке о семи богатырях". Мне, заезжому, виден весь муравейник. Пишется музыка. Укладывается текст. Сколько хлопотни за костюмами; сделанные заново, должны быть хороши, под стать старым, взятым из музея. Постановка. Танцы. И не узнать учеников. Как бегут после работы от верстака, от косы и граблей к старинным уборам, как стараются "сказать", как двигаются в танцах, играют в оркестре. С неохотой встречают ночь и конец.

Прошлым летом любовался таким представлением. Был участником шумной радости.

Видал и начало храма этой жизни. До конца ему еще далеко. Приносят к нему все лучшее. В этой постройке могут счастливо претвориться чудотворные наследия старой Руси с ее великим чутьем украшения. И безумный размах рисунка наружных стен собора Юрьева-Польского, и фантазмагория храмов ростовских и ярославских, и внушительность Пророков новгородской Софии — все наше сокровище Божества не должно быть забыто. Даже храмы Аджанты и Лхассы. Пусть протекают годы в спокойной работе. Пусть она возможно полней воплотит заветы красот.

Где желать вершину красоты, как не в храме, высочайшем создании нашего духа?

Удивляются успеху Талашкина. Удивляются, почему быстро расходятся изделия его мастерских? Но это проломы в плотном строе прошлости, и дают они надежды на будущее. Недаром за границей оценивают достоинства дела княгини Тенишевой и с доброжелательством говорят о нем. Недаром молодежь полна желаний применить силы свои в таком деле. В стремлении молодежи всегда звучит хорошее, не задавленное предубеждением возраста.

Говоря о деле сейчас, приходится только сказать о развитии его в случайной минуте. Трудно предугадать, как шагнет дело, какие заторы его ожидают и какой след оставит оно в русской жизни. Можно только догадываться, что будущее его может быть так же примечательно, как и начало. И корни дела не так недалеки от "единства" стиля в стремлении молодого Запада. Различие подхода не заслонит цели — торжества строгой формы и линии и слияния с "единым" западным стилем, не в слепом подражании ему, а в единстве глубин красоты.

Считают изделия Талашкина безупречными. Другие отрицают их, забывая, что одно из

главных достоинств творчества Талашкина — отсутствие скучной заключительной точки.

Много спора, как и обо всем, что не уложилось в обмеренные рамки.

О характере изделий Талашкина говорят разно. Называют этот стиль новым, измышленным, неприменимым. Говорят, что это прямое преемство от старорусских заветов. Находят в нем путь к обновлению всей русской обстановки обихода. Видят его чуть ли не достоянием народным. Упрекают за грубость материала и техники; обвиняют в этом Малютина... Не знаю, что верней. Не хочу и думать об этом. Эта дума ненужная. Она никому не поможет, ни пользующим, ни творящим. Такими думами только закрепляются рамки вокруг дела, свободного по существу. Вышивкам крестьянок, полным приятнейших, растительнейших красок и заветных стежков и узоров, кристаллизованных веками; сочной резьбе и гончарству в удачных вещах — нет дела, кому они будут служить и как; безразлично им, чей глаз ласкать и покоить.

Лишь бы росли и развивались такие дела. Лишь бы тем самым искусство становилось нам более нужным. Усмехаемся горько; "нисколько не возбраняется презирать искусство. Любить его никто не обязан... Справедливо мнение, что искусство ничего не требует от правительства, кроме того, что требовал у Александра Диоген: посторонись, не заслоняй мне солнца". Эта скромная просьба искусства обращена и к толпе, к академиям, часто к критике и ко многим художникам.

Конечно, в настоящее время, а может быть, и в ближайшие дни искусство будет особенно далеким от нас, заслоненное другими событиями жизни. Может быть, еще никогда русская мысль не удалялась так от искусства, как сейчас. Но тем приятнее в эти дни мечтать об искусстве. Приятно сознать, что, может быть, хотя бы путем временного удаления, мы ближе подойдем к нему, к его жизненной сущности. Может быть... И глаза наши, полузакрытые, откроются на многое вечное.

К этому времени нужна работа. Нужны усилия не только отдельных личностей, лишенных ли дела, уходящих ли "в горы", подавленных ли в своих лучших стремлениях. Нужны явления сильные, с широким размахом. Такое и дело княгини Тенишевой, крепкое в неожиданном единении земляного нутра и лучших слов культуры.

В стороне от центров, вне барышей и расчетов творится большое, хорошее, красивое.

Так вспоминается Талашкино.

1905



Наше искусство очистим ли? Что возьмем? Куда обратимся? — К новым ли перетолкованиям классицизма? Или сойдем до античных первоисточников? Или углубимся в бездны примитивизма? Или искусство наше найдет новый светлый путь "неонационализма", овеянный священными травами Индии, крепкий чарами финскими, высокий взлетами мысли так называемого "славянства"? Сейчас еще не остановлюсь на, может быть, загадочном слове "неонационализм". Нужны дела, — еще рано писать манифест этому слову. Всех нас бесконечно волнует — откуда придет радость будущего искусства? Радость искусства — о ней мы забыли — идет. В последних исканиях мы чувствуем шаги этой радости.

Среди достижений выдвигается одно счастливое явление. С особенной остротой вырастает сознание о настоящей украшаемости "декоративности". О декоративности, как единственном пути и начале настоящего искусства. Таким образом опять очищается мысль о назначении искусства — украшать. Украшать жизнь так, чтобы художник и зритель, мастер и пользующийся объединялись экстазом творчества и хоть на мгновение ликовали чистейшею радостью искусства.

Можно мечтать, что именно исканиями нашего времени будут отброшены мертвые придатки искусства, навязанные ему в прошлом веке. В массах слово украшать будто получает опять обновленное значение. Из поработанного, служащего искусство вновь может обратиться в первого двигателя всей жизни.

Драгоценно то, что культурная часть общества именно теперь особенно настойчиво стремится узнавать прошлое искусства. И, погружаясь в лучшие родники творчества, общество вновь поймет все великое значение слова "украшать". В огне желаний радости — залог будущих ярких достижений. Достижения эти сольются в апофеозе какого-то нового стиля, сейчас немислимого. Этот стиль даст какую-то эпоху, нам совершенно неведомую. Эпоху, по глубине радости, конечно, близкую первым лучшим началам искусства. Машины будущего — искусству не страшны. Цветы не расцветают на льдах и на камне. Для того чтобы сковалась стройная эпоха творчества, нужно, чтобы вслед за художниками все общество приняло участие в постройке храма. Не холодными зрителями должны быть все люди, но сотрудниками работы. Такое мысленное творчество освятит все проявления жизни и будет тем ценным покровом холодных камней, без которого корни цветов высыхают.

Пусть будет так, пусть все опять научатся радости.

Судьба обращает нас к началам искусства. Всем хочется заглянуть вглубь, туда, где сумрак прошлого озаряется сверканьем истинных украшений. Украшений, повторенных много раз в разные времена, то роскошных, то скромных и великих только чистотою мысли, их создавшей.

Счастливое прошлое есть у всякой страны, есть у всякого места. Радость искусства была суждена всем. С любой точки земли человек мог к красоте прикасаться.

Не будем слишком долго говорить о том, почему мы сейчас почти разучились радоваться искусству. Не будем слишком мечтать о тех дворцах света и красоты, где искусство делается действительно нужным. Теперь мы должны посмотреть, когда именно бывала радость искусства и на наших землях. Для будущего строительства эти старые вехи сделаются опять нужными.

Не останавливаясь на обычных исторических станциях, мы пройдем поступью любителя к началам искусства. Пройдем не к позднейшим отражениям, а туда — к действительным

началам. Посмотрим, насколько эти начала близки нашей душе. Попробуем решить, если бы мы, такие как мы есть, могли переместиться в разные далекие века, то насколько бы мы почувствовали себя близкими в них бывшему искусству. Гениальных детей или мудрецов можем мы увидеть? Не будем описывать отдельных предметов, не будем их измерять и объяснять. Такие навязанные измерения могут обидеть их прежних авторов и владельцев.

Сейчас нам нужно наметить главные вехи радости искусства. Не измерение, а впечатление нужно в искусстве. Без боязни преемственности строго сохраним принцип, что красивое, замечательное, благородное всегда таким и останется, несмотря ни на что. Клевета не страшна. Согласимся отбросить все узконациональное. Оставим зипуны и мурmolки. Кроме балагана, кроме привязанных бород и переодеваний, вспомним, была ли красота в той жизни, которая протекала именно по нашим территориям.

Нам есть что вспомнить, ценное в глазах всего мира.

Минуем отступления и заблуждения в искусстве, которыми полно еще недавнее прошлое. Многое постороннее, что успело в силу нехудожественного принципа войти в искусство, нужно суметь забыть поскорее. Желая радоваться, мы не должны останавливаться на порицаниях. И без того, когда говорят о современном искусстве, то больше обращают внимание на темные, нежели на радостные стороны дела. В чрезмерных занятиях порицаниями чувствуется молодость России. В то время, как Запад спешит мимо маловажных вещей к замечательному, мы особенно усидчиво остаемся перед тем, что нам почему-либо не нравится. При этом "почему-либо" выходит за всякие возможные пределы, и слишком часто мы легкомысленно говорим о личностях, тем самым попирая дело. В таком проявлении молодости никто, конечно, не сознается, но факт остается непреложным: для сознания значения и полезности нам все еще необходима утрата. Один из последних ужасающих примеров: Врубель, избранный академиком только после слепоты для малопризнанный критикой, пока болезнь не остановила рост его искусства. [\[14\]](#)

Сами того не замечая, многие слишком думают о том, как бы уничтожить, а не о том, как создать. Поспешим к радостям искусства.

Поспешим в трогательные тридцатые годы. Мысленно полюбуемся на прекрасные, благородные расцветы александровского времени. Восхитимся пышным, истинно декоративным блеском времени Екатерины и Елизаветы. Изумимся непостижимым совмещениям Петровской эпохи. По счастью, от этих времен сохранилось еще очень многое, и они легче других доступны для изучения и наблюдений. Сейчас мы имеем таких исключительных выразителей этих эпох. Пройдем же туда, где еще так недавно искусство считалось только поработанным, скромным служителем церкви.

Думая о старине, мы должны помнить, что настоящее понимание допетровской Руси испорчено. Чтобы вынести оттуда не петушиный стиль, чтобы не вспомнить только о дуге и рукавицах, надо брать одни первоисточники. Все перетолкования прошлого века должны быть забыты. Церковь и дом северного края мы должны взять не из чертежа профессора, а из натуры, может быть, даже скорее из скромного этюда ученика, который не решился "по-своему" исправить своеобразное выражение старины. Богатство царских покоев — не из акварелей Солнцева, а только мысленно перенося в жизнь сокровища Оружейной палаты. Если сейчас мы вспомним архитектурный музей Академии Художеств, то ужаснемся, по каким образцам ученики вынуждены узнавать интересное прошлое и чем эти образцы и теперь пополняются. Сознаемся, что в допетровской Руси среди драгоценностей, одежд, тканей и оружия много европейской красоты. Все это настоящим способом декоративно.

Как магически декоративны Чудотворные лики! Какое постижение строгой силуэтности и чувство меры в стесненных фонах. Лик — грозный, Лик — благостный, Лик — радостный, Лик

— печальный, Лик — милостивый, Лик — всемогущий.

Все тот же Лик, спокойный чертами, бездонный красками, великий впечатлениями, — Чудотворный.

Только недавно осмелились взглянуть на иконы, не нарушая их значения, со стороны чистейшей красоты; только недавно рассмотрели в иконах и стенописях не грубые, неумелые изображения, а великое декоративное чутье, овладевшее даже огромными плоскостями. Может быть, даже бессознательно авторы фресок пришли к чудесной декорации. Близость этих композиций к настоящей декоративности мы мало еще умеем различать, хотя и любим исследовать черты, и детали, и завитки орнамента старинной работы. Какой холод наполняет часто эти исследования! Иногда, слушая рассуждения так называемых "специалистов", даже желаешь гибели самых неповинных прекрасных предметов; если они могли вызвать такие противохудожественные суждения, то пусть лучше погибнут.

В ярких стенных покрытиях храмов Ярославля и Ростова какая смелость красочных выражений!

Осмотрите в храме Ивана Предтечи в Ярославле. Какие чудеснейшие краски вас окружают! Как смело сочетались лазоревые воздушнейшие тона с красивой охрой! Как легка изумрудно-серая зелень и как у места на ней красноватые и коричневатые одежды! По тепловатому светлому фону летят грозные архангелы с густыми желтыми сияниями, и белые их хитоны чуть холоднее фона. Нигде не беспокоит глаз золото, венчики светятся одной охрой. Стены эти — тончайшая шелковистая ткань, достойная одевать великий Дом Предтечи!

Или вспомните тепловатый победный тон церкви Ильи Пророка! Или, наконец, перенеситесь в лабиринт ростовских переходов, где каждая открытая дверка поражает вас неожиданным стройным аккордом красок. Или на пепельно-белых стенах сквозят чуть видимыми тонами образы; или пышет на вас жар коричневых и раскаленно-красных тонов; или успокаивает задумчивая синяя празелень; или как бы суровым словом канона останавливает вас серыми тенями образ, залитый охрой.

Вы верите, что это так должно было быть, что сделалось это не случайно; и кажется вам, что и вы не случайно зашли в этот Дом Божий и что это красота еще много раз будет нужна вам в вашей будущей жизни.

Писались эти прекрасные вещи не как-нибудь зря, а так, чтобы "предстоящим мнети бы на небеси стояти пред лица самих первообразных". Главное в том, что работа делалась "лепо, честно, с достойным украшением, приличным разбором художества".

Писали Иверскую икону, обливали доску святою водою, с великим дерзновением служили Божественную литургию, мешали св. воду, и св. мощи с красками; живописец только по субботам и воскресеньям получал пищу; велик экстаз создания древней иконы и счастье, когда выпадал он на долю природного художника, понявшего красоту векового образа.

Прекрасные заветы великих итальянцев в чисто декоративной перифразе слышатся в работе русских артелей; татарщина внесла в русскую кисть капризность Востока. Горестно, когда многие следы старого творчества поновляются не но драгоценным преданиям.

В царском периоде Руси мы ясно видим чистую декоративность. Строительство в храмах, палатах и частных домиках дает прекрасные образцы понимания пропорций и чувства меры в украшениях. Здесь спорить не о чем!

Бесконечно изумляешься благородству искусства и быта Новгорода и Пскова, выросших на "великом пути", напитавшихся лучшими соками ганзейской культуры. Голова льва на монетах Новгорода, так схожая со львом св. Марка, не была ли мечтою о далекой царице морей — Венеции? (Символика монетных изображений даст еще большие неожиданности. Нумизматика тоже ждет своего художника.) Когда вы вспоминаете расписные фасады старых ганзейских

городов, не кажется ли вам, что и белые строения Новгорода могли быть украшены забавною росписью?

Великий Новгород, мудрый беспредельными набегами своей вольницы, скрыл сейчас от случайного прохожего свой прежний лик, но на представлении о славе новгородской не лежит никаких темных пятен. Представление о Новгороде далеко от тех предвзятых затемнений, которые время набросило на русскую татарщину.

Из татарщины, как из эпохи ненавистной, время истребило целые страницы прекрасных и тонких украшений Востока, которые внесли на Русь монголы.

О татарщине остались воспоминания только как о каких-то мрачных погромах. Забывается, что таинственная колыбель Азии вскормила этих диковинных людей и повела их богатыми дарами Китая, Тибета, всего Индостана. В блеске татарских мечей Русь вновь слушала сказку о чудесах, которые когда-то знали хитрые арабские гости Великого Пути и греки.

Монгольские летописи, повести иностранных посольств толкуют о непостижимом смещении суровости и утонченности у великих кочевников. Повести знают, как ханы собирали к ставке своей лучших художников и мастеров.

Кроме установленной всеми учебниками, может быть иная точка зрения на сущность татар. Вспоминая их презрение к побежденному, к не сумевшему остоять себя, не покажутся ли символическими многие поступки кочевников? Пир на телах русских князей, высокомерие к вестникам и устрашающие казни взятых в плен? Разве князья своею разьединенностью, взаимными обидами и наговорами или позорным смирением не давали татарам лучших поводов к высокомерию? Если татары, наконец, научили князей упорству, стойкости и объединенности, то они же оставили им татарские признаки власти — шапки и пояса, и внесли в обиход Руси сокровища ковров, вышивок и всяких украшений. Не замечая, взяли татары древнейшие культуры Азии и также невольно, полные презрения ко всему побежденному, разнесли их по русской равнине.

Не забудем, что кроме песни о татарском полоне, может быть еще совсем иная песнь: "мы, татары, идем".

Из времен смутных одиноко стоят остатки Суздаля, Владимира и сказочный храм Юрьева-Польского. Не русские руки трудились над этими храмами. Может быть, аланы Андрея Боголюбского?

Если мы боимся вспомнить о татарском огне, то еще хуже вспоминать, что усобицы князей еще раньше нарушили обаяния великих созданий Ярослава и Владимира. Русские тараны также били по белым вежам и стенам, которые прежде светились, по словам летописи, "как сыр". И раньше татар начали пустеть триста церквей Киева.

Когда идешь по равнинам за окраинами Рима, то невозможно себе представить, что именно по этим пустым местам тянулась необъятная, десятиллионная столица цезарей. Даже когда идешь к Новгороду от Нередицкого Спаса, то дико подумать, что пустое поле было все занято шумом ганзейского города. Нам почти невозможно представить себе великолепие Киева, где достойно принимал Ярослав всех чужестранцев. Сотни храмов блестели мозаикой и стенописью, скудные обрывки церковных декораций Киева; обрывки стенописи в новгородской Софии; величественный одинокий Нередицкий Спас; части росписи Мирожского монастыря во Пскове... Все эти огромные большею частью фигуры с лицами и одеждами, очерченными действительными декораторами, все-таки не в силах рассказать нам о расцвете Киева времен Ярослава.

Минувшим летом в Киеве, в местности Десятинной церкви, сделано замечательное открытие: в частной усадьбе найдены остатки каких-то палат, груды костей, обломки фресок, изразцов и мелкие вещи. Думают, что это остатки дворцов Владимира или Ярослава.

Нецерковных украшений от построек этой поры мы ведь почти не знаем, и потому тем ценнее мелкие фрагменты фресок, пока найденные в развалинах. В Археологической Комиссии я видел доставленные части фрески. Часть женской фигуры, голова и грудь. Художественная малоазийского характера работа. Еще раз подтверждается, насколько мало мы знаем частную жизнь Киевского периода. Остатки стен сложены из красного шифера, связанного известью. Техника кладки говорит о каком-то технически типичном характере постройки. Горячий порыв строительства всегда вызывал какой-нибудь специальный прием. Думаю, палата Рогеров в Палермо дает представление о палатах Киева.

Скандинавская стальная культура, униженная сокровищами Византии, дала Киев, тот Киев, из-за которого потом восставали брат на брата, который по традиции долго считался матерью городов. Поразительные тона эмалей, тонкость и изящество миниатюр, простор и спокойствие храмов, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие заветы великого романского стиля дали благородство Киеву. Мужья Ярослава и Владимира тонко чувствовали красоту, иначе все оставленное ими не было бы так прекрасно.

Вспомним те былины, где народ занимается бытом, где фантазия не расходуется только на блеск подвигов.

Вот терем:

Около терема булатный тын,  
Верхи на тычинках точеные,  
Каждая с маковкой — жемчужинкой;  
Подворотня — дорог рыбий зуб,  
Над воротами икон до семидесяти;  
Серед двора терема стоят.  
Терема все златоверховатые;  
Первые ворота — вальящетые,  
Средние ворота — стекольчатые.  
Третьи ворота — решетчатые.

В описании этом чудится развитие дакийских построек Траяновой колонны. Вот всадники:

Платье-то на всех скурлат-сукна,  
Все подпоясаны источенками,  
Шапки на всех черны мурманки,  
Черны мурманки — золоты вершки;  
А на ножках сапожки — зелен сафьян,  
Носы-то шилом, пяты остры.  
Круг носов-носов хоть яйцом прокати.  
Под пяту-пяту воробей пролети.

Точное описание византийской стенописи.  
Вот сам богатырь:

Шелом на шапочке как жар горит;  
Ноженки в лапотках семи шелков.  
В пяты вставлено по золотому гвоздику,

В носы вплетено по дорожному яхонту,  
На плечах шуба черных соболей,  
Черных соболей заморских,  
Под зеленым рытым бархатом,  
А во петелках шелковых вплетены  
Все-то божьи птичущки певучие,  
А во пуговках злаченных вливаны  
Все-то люты змеи, зверюшки рыкучие...

Предлагаю на подобное описание посмотреть не со стороны курьеза былинного языка, а по существу. Перед нами детали верные археологически. Перед нами в своеобразном изложении отрывок великой культуры, и народ не дичится ею. Эта культура близка сердцу народа; народ без злобы, горделиво о ней высказывается.

Заповедные ловы княжеские, веселые скоморошья забавы, мудрые опросы гостей во время пиров, достоинство постройки новых городов сплетаются в стройную жизнь. Этой жизни прилична оправа былин и сказок. Верится, что в Киеве жили мудрые богатыри, знавшие искусство.

"Заложил Ярослав город великий Киев, у него же града суть Златая Врата. Заложил же и церковь святую Софию, митрополию и посем церковь на Золотых Воротах святое Богородице Благовещенье, посем святого Георгия монастырь и святой Ирины. И бе Ярослав любя церковные уставы и книгам прилежа и почитая е часто в ноци и в дне и списаша книги многы: с же насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное. Книги бо суть реки, напаяюще вселенную се суть исходища мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина. Ярослав же се, любим бе книгам, многы наложи в церкви святой Софии, юже созда сам украси ю златом и серебром и сосуды церковными. Радовашеся Ярослав видя множество церквей".

Вот первое яркое известие летописи об искусстве. Владимир сдвигал массы. Ярослав сложил их во храм и возрадовался об искусстве. Этот момент для старого искусства памятен.

Восторг Ярослава при виде блистательной Софии (безмерно далек от воплей современного дикаря при виде яркости краски. Это было восхищение культурного человека, почуявшего памятник, ценный на многие века. Так было, такому искусству можно завидовать, можно удивляться той культурной жизни, где подобное искусство было нужно.

Не может ли возникнуть вопрос: каким образом Киев в самом начале истории уже оказывается таким исключительным центром культуры и искусства? Ведь Киев создан будто бы так незадолго до Владимира? Но знаем ли мы хоть что-нибудь о создании Киева? Киев уже прельщал Олега — мужа бывалого и много знавшего. Киев еще раньше облюбовали Аскольд и Дир. Тогда уже Киев привлекал много скандинавов: "и многи Варяги скуписта и начаста владети Польскою землею". При этом все данные не против культурности Аскольда и Дири. До Аскольда Киев уже платил дань хозарам, и основание города отодвигается к легендарным Кию, Щеку и Хориву. Не будем презирать и предания. В Киеве будто бы был и апостол — проповедник. Зачем попал в далекие леса проповедник? Но появление его становится вполне понятным, если вспомним таинственные, богатые культы Астарты малоазийской, открытые недавно в Киевском крае. Эти культы уже могут перенести нас в XVI–XVII века до нашей эры. И тогда уже для средоточия культа должен был существовать большой центр.

Можно с радостью сознавать, что весь великий Киев еще покоится в земле в нетронутых развалинах. Великолепные открытия искусства готовы также и для наших дней. То, что начато

сейчас раскопками Хвойко, надо продолжить государству в самых широких размерах. Останавливаемся на исследовании Киева только потому, что в нем почти единственный путь углубить прошлое страны. Эти вехи освещают и скандинавский век и дают направление суждениям о времени бронзы.

Несомненно, радость Киевского искусства создавалась при счастливом соседстве скандинавской культуры. Почему мы приурочиваем начало русской Скандинавии к легендарному Рюрику? До известия о нем мы имеем слова летописи, что славяне "изгнаша Варяги за море и не даша им дани"; вот упоминание об изгнании, а когда же было первое прибытие варягов? Вероятно, что скандинавский век может быть продолжен вглубь на неопределимое время.

Как поразительный пример неопределенности суждений об этих временах, нужно привести обычную трактовку учебников: "прибыл Рюрик с братьями Синеусом и Трувором", что по толкованию северян значит: "конунг Рурик со своим Домом (син хуус) и верною стражею (тру вер)".

Крепость скандинавской культуры в северной Руси утверждает также и последнее толкование финляндцев о загадочной фразе летописи: "земля наша велика...", и т. д., и о посольстве славян. По остроумному предположению, не уличая летописца во лжи, пресловутые признания можно вложить в уста колонистов-скандинавов, обитавших по Волхову. Предположение становится весьма почтенным, и текст признаний перестает изумлять.

Бывшая приблизительность суждений, конечно, не может огорчать или пугать искателей; в ней — залог скрытых сейчас блестящих горизонтов!

Глубины северной культуры хватило, чтобы напитать всю Европу своим влиянием на весь X век. Никто не будет спорить, что скандинавский вопрос — один из самых красивых среди задач художественных. Памятники скандинавов особенно строги и благородны. Долго мы привыкали ждать все лучшее, все крепкое с севера. Долго только лады с пестрыми парусами, только резные драконы были вестниками всего особенного, небывалого. Культура северных побережий, богатые находки Гнездова, Чернигова, Волховские и Верхне-Поволжские — все говорит нам не о проходной культуре севера, а о полной ее оседлости. Весь народ принял ее, весь народ верил в нее. И опять нет никакого основания считать северян дикими поработителями родоначальников Новгорода. Доказательство простое — все оставленное ими умно и красиво. Они жили неведомо как, но во всяком случае жили долго и жили так, что истинное искусство им было близко.

Варяги дали Руси человекообразные божества, а сколько же времени северные народы чтили силы природы, принадлежали одной из самой поэтических религий! Эта религия — колыбель лучших путей творчества.

Здесь кончаются общедоступные картины.

От жизни осталась одна пыль, от целой грозной кольчуги остался комок железа — из него трудно развернуть всю прежнюю ее величину, и не знающему трудно поверить, что найден не скучный археологический хлам, а частица бывшей, подлинной прелести. Всему народу пора начать понимать, что искусство не только там было, где оно ясно всем: пора верить, что гораздо большее искусство сейчас скрыто от нас временем. И многое — будто скучное — озарится тогда радостью проникновений, и зритель делается творцом. В этом — прелесть прошлого и будущего. И человеку, не умеющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем. Сказочные Hallristningar'ы северных скал, высокие курганы северных путей, длинные мечи, тяжелые фибулы, держащие узорные одежды, заставляют любить северную жизнь. В любви к ней может быть уважение к первооформленному. За этой гранью мы сразу окунаемся в хаос бронзовых патин. Много или мало искусства в неразборчивых временах?

Чужда ли искусству живоотнообразная финская фантазмагория? Чужды ли для

художественных толкований формы, зачарованные Востоком? Отвратительны ли в первых руках скифов переделки античного мира? Полно, только ли грубые золотые украшения полуизвестных сибирских кочевников?

Эти находки не только близки искусству, но мы завидуем ясности мысли обобщения исчезнувших народов. Твердо и искусно укладывались великие для них символы в бесчисленные варианты вещей. Даже безжалостный спутник металла — штамп — не мог погубить врожденных исканий искусства. В таинственной паутине веков бронзы и меди опасно разбираемся мы. Каждый день приносит новые выводы, каждое приближение к этой груде дает новую букву жизни. Целый ряд блестящих шестивей! Перед глазами еще сверкает Византия золотом и изумрудом тканей, эмалей, но внимание уже отвлечено.

Мимо нас проходят пестрые финно-тюрки. Загадочно появляются величественные арийцы. Оставляют потухшие очаги неведомые прохожие... Сколько их! Из их даров складывается синтез действительно неонационализма искусства. К нему теперь обратится многое молодое. В этих проникновениях — залог здорового сильного потомства. Если вместо притупленного национального течения суждено сложиться обаятельному "неонационализму", то краеугольным его сокровищем будет великая древность, — вернее: правда и красота великой древности.

Еще полуслепые, ищем мы подлинный облик обитателей прекрасных городищ. Еще не прозревшие, чувствуем прелесть покинутых культов природы, о чем совершенно не в силах передать нам древнейшие летописи христианского времени. Звериный обычай жизни, бесовские игрища, будто бы непристойные песни, о которых толкует летописец, подлежат большому обсуждению. Пристрастие духовного лица — летописца — здесь слишком понятно. Церковь не приносила искусство. Церковь на искусстве становилась. И, созидавая новые формы, она раздавливала многое, тоже прекрасное.

После скандинавского века всякая достоверность исчезает. Приблизительность доходит до нескольких столетий. Мы только можем знать, что для жизни требовались красивые вещи, но какая была жизнь, какие именно требовались предметы искусства, как верили в это искусство бывшие жители — мы не знаем.

За четыре тысячи пятьсот лет до нашей эры расцветала культура Вавилона; знаем кое-какие буквы ее, но сложить сказку из них — пусть попробуют специалисты! Глубины бронзы и меди неразборчивы. Неразборчивы особенно, если мы захотим не сходить с русских территорий. Греция, Финикия! Какие непостижимые следствия должны были они производить среди местных населений. Конечно, если мы упрекали время русской усобицы в понижении смысла украшений, то и в веках бронзы мы, естественно, найдем моменты жизни, когда в переходном движении значение искусства затемнялось. Неумелое пользование новым сокровищем — металлом — отодвигало настоящую художественность. Но ведь время темных веков железа, бронзы и меди очень длинно. Неясность здесь простительна, тем более что творчество в одном направлении шло безостановочно, а именно, в творчестве орнамента. Культ священных узоров благодатной паутиной окутывал человечество. Скромная мордовка или черемиска не могут постичь, достояние скольких десятков веков на ней одето сейчас!

Но чувствуем, что штампование жизни кончается. Национальность кончается. Условности политической экономии кончаются. Кончается толпа. Не кончается искусство. Выступает какой-то новый человек. Значит, мы подошли к векам камня.

В разных периодах жизни Руси мы видели радость искусства. Чем глубже, тем волны этой радости неожиданнее, разделеннее, но гребни волн были все-таки высоки. По вершинам этой радости бегло прошли мы всю жизнь. Мы видели, что и после блеска Киева и скандинавского века понятие "украшать" могло быть столь же чистым, столь же высоким, как и в наиболее блестящие эпохи.



Пусть многие по-прежнему недоверчиво косятся на затемненную археологию, отрезают ее от искусства. Даже самоотверженный любитель не содрогнется ли от неизвестности при приближении к каменному веку. Такая древность слишком далека от нашего представления о жизни. Когда вам кажется, что вы поняли часть древнейшей жизни, не думаете ли вы, что безоружным глазом вы точно усмотрели клочок звездного неба?

Именно радость искусства время сохранило для нас также из эпохи камня.

Забудем сейчас яркое сверкание металла; вспомним все чудесные оттенки камней. Вспомним благородные тона драгоценных мехов. Вспомним патины разноцветного дерева. Вспомним желтеющий тростник. Вспомним тончайшие плетения. Вспомним крепкое, здоровое тело. Эту строгую гамму красок будем вспоминать все время, пока углубляемся и каменный век.

## II

Уловим ли мы биение всей незапамятной жизни? Или только возможно пока установить точку зрения на такую непомерную древность?

Что слышно оттуда?

"Анге-пато́й ударила в гневе кремнем. В блестящих искрах создались боги земли и воды, лесов и жилищ. Кончила дело свое Анге-пато́й и бросила наземь кремень, но и он стал богом: ведь она не отняла от кремня творящую силу. Стал кремень богом приплода, и на дворе или под порогом дома маленькая ямка прикрыта кремневым божком — Кардяс-сярко".

Так в предании населила землю богами Ерзя, часть мордвы.

Сравним эту красивую легенду с преданием Мексики: "на небе Мексиканском был некогда бог Цитлал Тонак, Звезда Сияющая и богиня Цитлал-Куэ, она что в рубахе звездной. Эта звездная богиня родила странное существо — кремневый нож. Другие их дети, пораженные этим странным порождением, сошвырнули его с неба. Кремневый нож упал, разбился на мелкие кусочки, и среди искр возникли тысяча шестьсот богов и богинь".

Космогония Ерзи не хуже замыслов мексиканских.

"Каменным ножом зарежешь барана" — заповедает жертвенный ритуал Воти.

"Громовая стрелка боль облегчает, в родах помогает", — шепчут знахарки.

"Великаны в лесу каменный топор хоронили" — помнят потомки Еми и Веси...

Много преданий! В каждом племени и сегодня живет таинственная основа "каменного века". Обычай и верования вместе с трудночеткими рунами орнамента толкуют все о том же "доисторическом времени". Называем его "доисторическим", хотя оно стоит вовсе не особняком. Наоборот, оно плотно вплетается в эпохи истории; часто питает эти эпохи лучшими силами. Где границы жизни без металлов?

Мы привыкаем искать паше искусство где-то далеко. Понятие наших начал искусства становится почти равнозначным с обращением к Индии, Монголии, Китаю или к Скандинавии, или к чудовищной фантазии финской. Но, кроме дороги позднейших заносов и отражений, у нас, как у всякого народа, есть еще один общечеловеческий путь — к древнейшему иероглифу жизни и пониманию красоты. Путь через откровения каменного века. Предскажем, что в поисках лучшей жизни человечество не раз вспомнит о Freiherr'ах древности; они были близки природе, они знали красоты ее. Они знали то, чего мы не ведаем уже давно.

Цельны движения древнего, строго целесообразны его думы, остро чувство меры и стремления к украшению.

Понимать каменный век как дикую некультурность — будет ошибкою неосведомленности. Ошибкой — обычных школьных путей. В дошедших до нас страницах времени камня нет

звериной примитивности. В них чувствуем особую, слишком далекую от нас культуру. Настолько далекую, что с трудом удастся мысль о ней иным путем, кроме уже избитой дороги — сравнения с дикарями.

Вполне допустимо: загнанные сильными племенами, вымирающие дикари-инородцы с их кремневыми копьями так же похожи на человека каменного века, как идиот похож на мудреца. Осталось несколько обще-родовых жестов, но они далеки от настоящего смысла. Человек каменного века родил начала всех блестящих культур, он мог сделать это. От инородца — нет дороги, он даже утрачивает всякую власть над природой.

Но в страхе борьбы, в ошибках достижений затемнился феномен бытия. Культуры разветвились слишком. Дуб всемирного очага разросся безмерно, мы боязливо путаемся в его бесчисленных ветках. В стремлении к чеканке форм жизни мы должны очищать далекие закрытые корни. И вот мы, кичливые владычеством металлов, поняли. Только очень недавно поняли: пыльный проходной первый зал музеев не есть печальная необходимость, не есть темное пятно родословной. Он есть первейший источник лучших заключений. Мера почтения к нему такова же, как мера удивления перед тайной жизни десятков тысячелетий. Подумайте, десятков!

Площади богатых огромных городов донесли до нас кучу шлаков, несколько обломков бронзы и груды камней. Но мы знаем, что дошедшее до нас — не мерило протекшей жизни. В печальных остатках мы видим усмешку судьбы. Также и жизнь каменного века — не в тех случайных кремневых осколках, которые пока попадают нам в руки. Эти осколки — тоже случайная пыль большой жизни, длинной бесконечно!

Особенная тайна окружает следы каменного века. Ничто иное, но каменные остатки всегда и даже до сих пор относятся к небесному происхождению.

Какие только боги не металы находимые в земле копья и стрелы!

Не только классический мир не сумел отгадать настоящее происхождение каменных орудий, но и все средние века происхождение их оставалось маловыясненным. Только в новейшее время, в конце XVIII века, немногие ученые узнали истинное происхождение древнейших изделий. Утверждения были скудны, шатки, малоубедительны. Собственно безусловного в постановке дела немного установилось и до сих пор. Из груды относительных суждений почти невозможно выделить те, которым бы не угрожала переоценка. Это неудивительно, ибо если расстояние одного тысячелетия уже колеблет уверенность в одном, даже двух веках, то что же сказать про десятки таких эпох? Куда же идти дальше, если даже ледниковый период остроумно заменяется англичанами какой-то стремительной катастрофой! Вспомним, что все названия древнейших периодов приняты лишь вполне условно, по месту первого случайного нахождения предметов. Можно представить, сколько неожиданностей хранит еще в себе земля и какие научные перемещения должны возникнуть. Прочие эпохи полны потрясающими примерами.

Научные постройки в пределах древнего камня опасны. Здесь возможны только наблюдения художественные. Слово о красоте древности ничто отодвинуть не может. За этими наблюдениями очередь. Будущее даст только новые доказательства.

Странно подумать, что, быть может, именно заветы каменного царства стоят ближе всего к исканиям нашего времени. То, что определил нам поворот культуры, то самое чисто и непосредственно впервые выросло в сознании человека древнейшего. Стремление обдумать всю свою жизнь, остро и строго оформить все ее детали, все, от монументальных строительных силуэтов до ручных мелочей, — все довести до строгой гармонии: эти искания нашего искусства, искания, полные боли, ближе другого напоминают любовные заботы древнего из всего окружающего сделать что-то обдуманное, изукрашенное, обласканное привычной рукой.

По отдельным осколкам доходим до общего. Каждый одиночный предмет нашей жизни говорит об его окружавших вещах. Отлично сработанный наконечник копья говорит о прекрасном древке, к хорошему топору идет такое же топорище, отпечатки шнуров и сетей свидетельствуют о самых этих вещах. Все мелочи украшений и устройства возводят весь обиход и жилище в известный порядок развития.

Радость жизни разлита в свободном каменном веке. Не голодные, жадные волки последующих времен, но царь лесов — медведь, бережливый в семействе, довольный обилием пищи, могучий и добродушный, быстрый и тяжелый, свирепый и благостный, достигающий и уступчивый, — таков тип человека каменного века.

Многие народы чтут в медведе человеческого оборотня и окружают его особым культом. В этом звере оценили народы черты первой человеческой жизни. Семья и род, конечно — основы древнейшего человека. Он одножен. Ради труда и роста семьи только снисходит он до многоженства. Он ценит детей — продолжателей его творческой жизни. Он живет сам по себе, ради себя творит и украшает. Мена, щегольство, боязнь одиночества, уже присущая позднему времени камня, не тронули древнего. Общинные начала проникают в быт лишь в неизбежных, свободных действиях охоты, рыбной ловли, постройки.

Нам не нужны сейчас наслоения геологии. Не тронем две первичные эпохи, хотя оставленное ими — кости их страшных обитателей и окаменелости — составляет огромный скелет сказочного для нас мира; он так же близок душе художника, как и изделия рук человека. Допустим условные научные распределения. Минуем третичный плиоцен с его таинственным предшественником человека. Царство догадок и измышлений! Царапины на костях и удары на кремневых осколках далеки от художественных обсуждений.

Древнейшие эпохи доледниковые — палеолит (шельская, ашельская, мустье́рская) уже близки искусству. Человек уже стал царем природы. В чудесных единоборствах меряется он с чудовищами. Уверенными, победоносными ударами высекает он первое свое орудие — клин, заостренный, оббитый с двух сторон. В широких ударах поделки человек символизирует победу свою; мамонты, носороги, слоны, медведи, гигантские олени несут человеку свои шкуры. Каменным скребком (мустье) обрабатывает человек мохнатую добычу свою. Со львом и медведем меняется человек жилищем — пещерой; он смело соседствует с теми, от кого в период "отступлений" он защищался уже сваями. Приходит ни ум еще одна победа — приручение животных. Веселое время! — время бесчисленных побед.

Движимый чудесными инстинктами гармонии и ритма, человек, наконец, вполне вступает в искусство. В двух последних эпохах палеолита (солютрейская и мадлэнская) блестящий победитель совершенствует жилище свое и весь свой обиход. Все наиболее замечательное в жизни одинокого творца принадлежит этому времени.

Множество оленей доставило новый отличный рабочий материал. Из рога изготовлены прекрасные гарпуны, стрелы, иглы, привески, ручки кинжалов... Находим изображения: рисунки и скульптуру из кости. Знаменитая женская фигурка из кости. Каменная Венера Брассемпуи. Пещеры носят следы разнообразных украшений. Плафоны разрисованы изображениями животных. В рисунках поражают наблюдательность и верная передача движений. Свободные линии обобщения приближают пещерные рисунки к лучшим рисункам Японии.

Пещеры южной Франции, Испании, Бельгии, Германии (Мадлэнская, Брассемпуйская, Мас-д'Азильская — с древнейшей попыткой живописи минеральными красками, Альтами́рская — с необычайно сложным плафоном грота, Таингенская и др.) доставили прекраснейшие образцы несомненной художественности стремлений древнего человека. Чувствуется, что пещеры должны были как-то освещаться; предполагаются подвесные светильники с горящим жиром.

Каменные поделки восходят на степень ювелирности. Тончайшие стрелы требуют удивительной точной техники. Собака становится другом человека; на рисунках оленей — одеты недоуздки. Украшения достигают замечательного разнообразия; отделка зубов животных, просверленные камни, раковины. Конечно, мена естественными продуктами постепенно изоощряет результаты творчества человека.

Остатки лакомых и нам раковин, кости птиц и рыб, кости крупных животных с вынутым мозгом — все это остатки очень разнообразной и вкусной еды обитателей изукрашенных пещер.

Между временем палеолита и неолита часто ощущается что-то неведомое. Влияли ли только климатические условия, сменялись ли неведомые племена, завершала ли свой круг известная многовековая культура, но в жизни народа выступают новые основания. Очарование одиночества кончилось, люди познали прелесть общности. Интересы творчества делаются разнообразнее; богатства духовной крепости, накопленные одинокими предшественниками, ведут к новым достижениям. Новые препятствия отбрасываются новыми средствами; среди черепов многие оказываются раздробленными ударами тяжелых орудий.

Так вступают в борьбу жизни послеледниковые эпохи. Неолит.

Материки уже не отличаются в очертаниях от нынешних, с тем же климатом. Мамонты вымерли, северные олени перешли к полярному кругу. Скотоводство, земледелие, охота отличают эпохи неолита. Выдвигается новое искусство — гончарство, богато украшенное. Каменные вещи так же дороги, как и в прежние эпохи. Работая с огнем, человечество натолкнулось на металлы. Неолит может гордиться этим открытием.

Последнее время неолита (эпоха Робенгаузенская); кончина "каменной красоты". Эпоха полированных орудий, время свайных построек, время неолитических городов (Санторин, Мелос, Гиссарлик, старая Троя)... В многотысячных собраниях предыдущих эпох вы не найдете ни одного точного повторения вещи. Все разделено личным умением и потребностями, качеством и количеством материала; в эпоху переходную к металлу вас поразит однообразие форм, их недвижность; чувствуется обесценивание ювелирных каменных вещей — перед неуклюжим куском металла. Энергия творчества обращена на иные стороны жизни. Гончарство также теряет свое разнообразие, и орнаменты иногда нисходят до фабричного штампования тканями и плетениями. Время штампования человеческой души. Неолит для России особенно интересен. Палеолит (Днепровский и Донской районы) пока не дал чего-нибудь необычного. Неолит же русский и богатством своим, и разнообразием ведет свою особую дорогу; может быть, именно ему суждено сказать новое слово среди принятых условностей. В русском неолите находим все лучшие типы орудий.

Не будем строить предположений о времени каменных периодов. К чему повторять чужие слова о том, что неопределимо? За 4500 лет до Р. Х. уже расцвела культура Вавилона, но в России остатки каменного века имеются даже во времена Ананьинского могильника, после нашей эры.

Балтийские янтари, находимые у нас с кремневыми вещами, не моложе 2000 лет до Р. Х. Площадки богатого таинственного культа в Киевской губернии, где находятся и полированные орудия, по женским статуэткам обращают нас к Астарте Малоазийской в XVI и XVII века до Р. Х.

При Марафоне некоторые отряды еще стреляли кремневыми стрелами! Так переплетались культуры.

Русский неолит дал груды орудий и обломков гончарства.

С трепетом перебираем звонко звенящие кремни и складываем разбитые узоры сосудов. Лучшие силы творчества отдал человек, чтобы создать подавляющее разнообразие вещей.

Особо заметим осколки гончарства. В них — все будущее распознавание племен и типов

работы; только на них дошли до нас орнаменты. Те же украшения богато украшали и одежду, и тело, и разные части деревянных построек, все то, что время истребило.

Те же орнаменты вошли в эпохи металла. Смотря на родные узоры, вспомним о первобытной древности. Если в искусстве народа мы узнаем остро стилизованную природу, то знаем, что основа пользования кристаллами природы выходит чаще всего из древнейших времен, из времен до обособления племен. Сравнения орнаментов легко дают примеры. На вышивках тверских мы знаем мотивы стилизованных оленей; не к подражанию Северу, а к древнему распространению оленя, кости которого находим с кремнями, ведет этот узор. На орнаменте из Коломцев (Новгород) человекообразные фигуры явно напоминают ритуальные фигуры вышивок новгородских и тверских. На гончарной бусе каменного века найдено изображение змеи, подобное древнейшему микенскому слою; змеи народных вышивок — древни.

Труден вопрос орнамента. Все доводы против инстинкта, хотя бы они дошли до ясности галлюцинаций, разбивает сама природа. Разве не поразительно, что сущность украшений одинакова у самых разъединенных существ? Но не гипотезы нам нужны, а факты.

Две основы орнамента — ямка и черта. Чтобы украсить — надо прикоснуться; всякое прикосновение украшателя оставляет то или другое. Соединение этих основ дает всякие фигуры; от их качества зависит самый характер узора. Из хрупкой глины лепит человек огромные котлы с круглым дном; те же руки дают крошечную чашечку, полную тонких узоров. Работают пальцы, ногти; идет в дело орнамента все окружающее: перья, белемниты (чертовы пальцы), веревки, плетенья, наконец выбиваются из камня особые штампы для узоров. Всякий стремится украсить сосуды свои чем-то особенным, сделать их более ценными, более красивыми, более нужными. И трогательно изучать первые славословия древних красот. Составьте из осколков разные формы сосудов. Изумляйтесь пропорциями их. Смотрите — вся поверхность котла залита ямочками или разбита чертами и всякими фигурами. Человек не знает, чем бы украсить, отметить сделанное; из плетений и шнуров он дает новые узоры. В последнее время каменного века, торопясь производством, он печатает на поверхности сосуда ткань одежды своей.

Но человеку мало разнообразия узоров. Он находит растительные краски, чтобы дать еще более особенности своему изделию. Целый набор тонов: черных, красных, серых и желтых. Сосуды красятся сплошь и узорами. Можно представить себе, сколько стремлений древнего разрушено временем, стерто землей, смыто водами. Та же спокойная палитра красок цветилась и на одежде, и на волосах, может быть на татуировке, так как мы знаем, что идея татуировки вовсе не принадлежит только дикарям. стыдно для нашего времени: в древности ни одного предмета без украшений. Невозможно даже сравнить народный обиход современности нашей с тем, что так настойчиво стремились иметь около себя старые обитатели тех же мест.

К любимым прекрасным вещам приложите каменное орудие — и оно не нарушит общего впечатления. Оно принесет с собой ноту покоя и благородства. Многие не так думают о древних камнях; не так думают те, кто предвзято не хочет знать достижений первых людей. Снимки в черном с каменных орудий ничего не говорят о них, кроме величины; такие снимки мертвят целесообразность предмета; именно они виновны, если нам часто недоступен первый период человечества. Черный снимок напоминает о предмете, но слишком редко может дать истинное о нем представление. Почти невозможно изучать камни и в музеях, за двумя запорами витрин. Кроме бедных узников, отягощенных путами, серых от пыли, вы ничего в музее не узнаете. Если хотите прикоснуться к душе камня — найдите его сами на стоянке; на берегу озера подымите его своей рукой. Камень сам ответит на ваши вопросы, расскажет о длинной жизни своей. Остатки леса, кора древности, почтенной сединой покрывают камни. Вы не замечаете бывшего их применения: перевертываете его в руке безуспешно — но идет на лицо улыбка, вам удалось захватить камень именно так, как приспособил его древний владелец. Именно теми пальцами

попадаете вы во все продуманные впадины и бугорки. В руках ваших оживает нужное орудие; вы понимаете всю тонкость, всю скульптурность отделки его. Из-под седины налетов начинает сквозить чудесный тон яшмы или ядеита. В ваших руках кусок красоты!

Чудесные тона красок украшали древки первых людей: кварцы, агаты, яшмы, обсидианы, хлоромеланиты, нефриты; от темно-зеленого ядеита до сверкающего горного хрусталя отсвечивало древнее оружие. Прежде всего говорим об оружии; в нем — все соревнование, в нем — все щегольство; на него — вся надежда. Пропорции копий, дротиков, стрел равны лучшим пропорциям листьев. Тяжелое копьё, приличное медведю, маленькая стрелка, пригодная перепелке, — в бесконечном разнообразии выходили из-под рук человека.

Мы плохо различаем орудия. Для нас целая бездна орудий — все так называемые скребки. Но для древнего ясно различались среди них массы орудий, самых различных назначений. Во всех домашних работах скребок — ближайший помощник. Из скребка часто выходят пила и навертыш. Острый скребок близок и ножу. Так же как копья, нож часто тонко выработывали с заостренным, загнутым концом.

Кроме всего острого и колющего каменный век сохранил и груды тяжелых ударных орудий. Клин, долото, топор, молот; где битва и где хозяйство — здесь различить невозможно.

Набор орудий древнего человека обширнее, чем это предполагается. Крючки для ловли, круглые камни, может быть, для метанья; круглые булавы с отверстием; человеко- и животноеобразные поделки, быть может, священные. Подвески из зубов, раковин, гончарные бусы, янтарные ожерелья. Костяные иглы, дудки и стрелы. На дне озерном и речном еще лежат темные стволы дубов; между ними, может быть, найдутся древнейшие лодки. Уже хорошо знали люди водные пути; на челноках с той же смелостью переносились на далекие пространства, как и скандинавы на ладьях одолевали океан.

Достоинство отделки русского неолита очень высоко. Особенно радует, что можно спокойно сказать: эта оценка не есть "домашнее" восхищение. На последнем доисторическом конгрессе 1905 г. в Перигё (деп. Дордонь) лучшие знатоки французы: Мортилье, Ривьер-де-Прекур, Картальяк и Капитан приветствовали образцы русского неолита восторженными отзывами, поставив его наряду с лучшими классическими поделками Египта. Вообще, если мы хотим с чем-нибудь сравнить форму и пропорции каменных вещей, то лучше всего обратиться к законченностям классического мира.

Смутно представляем себе жилище древнего.

Мы видим древнего не ходульным героем с чреслами, задрапированными обрывками шкур. Мы ощущаем в изделиях его не грубость и неотесанность, а тонкую ювелирность. Мы чувствуем, что обычный "печеный" колорит обстановки должен замениться в представлении нашем прекрасными красками. Мы ясно предчувствуем, что весь обиход и жилище древнего человека не могут быть полужверинными логовищами и восходят уже к порядкам стройной жизни.

Пещеры исследовались в России, особенно в Польше, но пока никакого особенного устройства в них не найдено. Украшения и рисунки еще не открыты. В неолите еще нам известны какие-то неопределенные основания прежних жилищ с ямами очагов. *Fonds des sabanes*. Были ли это простые конические шалаши? Подобия юрт, крытые шкурами, тростниками и мехами? Или устройство их было более основательным? Пока нет утверждения. Но вспомним, что и после обширного дома иногда остается только груда печного кирпича.

Разве основание очага может сказать о прочих размерах жилья?

Остатки свайных жилищ указывают на развитую хозяйственность. Были ли у нас свайные постройки? Пока неизвестно, но они были, конечно. Идея сваи, идея искусственного изолирования жилья над землей в пределах России существует издавна. Много веков прожили сибирские и уральские "сайвы" — домики на столбах, где охотники скрывают шкуры. В меновой

древнейшей торговле такие склады играли большую роль. Здесь мы у большой древности. Погребение по Нестору "на столбах при путях" — избы смерти славянской старины, сказочные избышки на курьих ножках — все это вращается около идеи свайной постройки. Многочисленные острова на озерах и реках, конечно, только упрощали устройство изолированных деревень. Жалко, что мы не можем сюда же включить и городища, окопанные валами, расположенными по прекрасным холмам, облюбованным с великим чутьем. Правда, в них находятся и каменные орудия, но ясно, что человек уже владел металлом, а камни — уже случайные "последыши" дедовской жизни.

Еще нельзя рассказать картину древнейших периодов камня. Палеолит в художественном представлении пока бесформен. Искры его высокого развития пока еще не связаны с остальными деталями жизни. Но русский неолит уже входит в картины осязательные.

В последний раз обернемся на пространство жизни с камнями.

Озеро. При устье реки стоит ряд домов. По утонченной изукрашенности домики не напоминают ли вам жилища Японии, Индии? Прекрасными тонами переливаются жилища, кремни, меха, плетенье, сосуды, темноватое тело. Крыши с высоким "дымом" крыты желтеющими тростниками, шкурами, мехами, переплетены какими-то изумительными плетеньями. Верхи закреплены деревянными резанными узором пластинами. Память о лучших охотах воткнута на края крыш. Белый череп бережет от дурного глаза.

Стены домов расписаны орнаментом в желтых, красных, белых и черных тонах. Очаги внутри и снаружи: над очагами сосуды, прекрасные узорчатые сосуды, коричневые и серо-черные. На берегу — челны и сети. Сети сплетали долго и тонко. На сушилнях шкуры: медведи, волки, рыси, лисицы, бобры, соболя, горностаи...

Праздник. Пусть будет это тот праздник, которым всегда праздновали победу весеннего солнца. Когда надолго выходили в леса, любовались цветом деревьев, когда из первых трав делали пахучие венки и украшали ими себя. Когда плясали быстрые пляски, когда хотели правиться. Когда играли в костяные и деревянные рожки-дудки. В толпе мешались одежды, полные пушных оторочек и плетешек цветных. Переступала красиво убранная плетеная и шкурная обувь. В хороводах мелькали янтарные привески, нашивки, каменные бусы и белые талисманы зубов.

Люди радовались. Среди них начиналось искусство. Они были нам близки. Они, наверное, пели. И песни их были слышны за озером и по всем островам. И желтыми пятнами колыхались огромные огни. Около них двигались темные точки толпы. Воды, бурные днем, делались тихими и лилово-стальными. И в ночном празднике быстро носились по озеру силуэты челнов.

Еще недавно вымирающие якуты, костенеющим языком своим, пели о весеннем празднике.

"Эгяй! Сочно-зеленый холм! Зной весенний взыграл! Березовый лист развернулся! Шелковистая хвоя зазеленела! Трава в ложбине густеет! Веселая очередь игр, веселья пора!"

"Закуковала кукушка! Горлица заворковала, орел заклектал, взлетел жаворонок! Гуси полетели попарно! У кого пестрые перья — те возвратились; у кого чубы тычинами — те стали в кучу!"

"Те, для кого базаром служит густой лес! Городом — сухой лес! Улицей — вода! Князем — дятел! Старшиною — дрозд! — все громкую речь заведите!"

"Верните молодость, пойте без усталости!"

Так дословно певали бедные якуты свою весеннюю песнь.

О каменном веке когда-нибудь мы узнаем еще многое. Мы поймем и оценим справедливо это время. И признанный каменный век скажет нам многое. Скажет то, что только иногда еще помнит индийская и шаманская мудрость!

Природа подскажет нам многие тайны первоначалья. Еще многие остатки красоты мы

узнаем. Но все будет молчаливо. Язык не остался. Ни находки, ни фантазия подсказать его не могут. Мы никогда не узнаем, как звучала песнь древнего. Как говорил он о подвиге своем? Каков был клич гнева, охоты, победы? Какими словами радовался древний искусству? Слово умерло навсегда.

Мудрые древние Майи оставили надпись. Ей три тысячи лет:

"Ты, который позднее явишь здесь свое лицо! Если твой ум понимает, ты спросишь, кто мы? — Кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси любовь! Спроси землю, землю страдания и землю любимую! Кто мы? — Мы земля".

Когда чувствовал древний приближение смерти, он думал с великим спокойствием: "отдыхать иду".

Не знаем, как говорили, но так красиво мыслили древние.

1908



# Древнейшие финские храмы

В Финляндии ведуньи еще варят зелье из змеиных голов. В Финляндии по холмам затейливыми непонятными кругами раскинулись каменные лабиринты, свидетели незапамятных обрядов. Богатыри схоронены в длинных курганах. Еще звучит кантеле. Олафсборг еще вспоминает о широкой рыцарской жизни, о твердых высоких шведах. Знают их древние каменные храмы. Еще стоят деревянные церкви, звено Норвегии с нашим Севером; такая церковь в Кеуго.

Много важного для нас есть на великом северном перепутье — в Финляндии.

В горах бесконечных, в озерах неожиданных, в валунах мохнатых, в порогах каменистых живет прекрасная северная сказка.

"Скандинавский вопрос" — повторяю, один из самых красивых среди задач историко-художественных. По глубине сравниться с ним может только вопрос о восточных движениях. Таинственны люди, бесконечной силой своей пронизавшие самые древние страны, напитавшие их сильной культурой своей. Везде скандинавы оставили после себя одни из лучших и самых здоровых влияний. Драгоценное качество — чувство собственного достоинства проникало в государственность народов вслед за северянами.

Для русских территорий значение скандинавов особенно значительно. Упсала доставила нам человекообразные божества. Фиорды дали судоходство. Варяги — боевой строй. В течение нескольких столетий мы привыкали ждать силу и опору с севера. Изучение севера нам близко и важно. Но варяжский вопрос все еще числится в будущих задачах. Медленно, как ручной заступ, археология раскапывает пеструю грудку измышлений и фактов. Пока дело все еще только усложняется. О подробностях начала текущего тысячелетия иногда можно говорить только с точностью до двух веков! Достаточно!

Все детали скандинавского вопроса важны для нас. То, что интересно само по себе, становится значительнее, как звено большого целого. Значение финских древнейших храмов — деталь общего вопроса; как увидим, уяснение этой детали сулит в будущем очень интересные выводы.

Прежде всего нужно условиться в одном: в очень раннем движении скандинавов на восток, гораздо более значительном, нежели обратное движение новгородцев. Надо признать оседлость скандинавов в западном углу Финляндии в X веке. Следуя за фактами, не покажутся странными обширные каменные католические храмы в зарослях шхер уже в XII и XIII веке.

Быстро еще раз вспомним шаги скандинавов к востоку. Колонизация эта должна восходить к очень ранним векам. Культура Кенигсбергских и Курляндских бронзовых и серебряных древностей — богатых и многочисленных; находки Волховские, Мстинские, Верхнего Поволжья, и в более поздних и в ранних проявлениях — все говорит нам о высокой культуре.

Чувствуется, что внесена культура не случайными прохожими, она укреплена среди местной жизни, она сроднилась с общим бытом, принята населением не поверхностно. По типам вещей, может быть, будет возможность отодвинуть северные шаги даже и за X век. Если о России можно говорить так, то очень понятно, что ближайшая к Скандинавии страна, полная мелкими несильными племенами, — Финляндия к X веку была уже насыщена влияниями непокойных искателей-викингов. Допуская, что ладожане уже в X веке могли получать дань с тавастов, нужно сознаться, что следы позднейших русских движений остались в Финляндии очень скромные. Несколько могильников, несколько крестов новгородского типа. Не больше, чем находок куфических монет! Зато могильники приморские и островные говорят о нахождении скандинавов особенно в западной Финляндии.

Жалко кривичей! Жалко всего того, что давно мы полюбили приписывать милым сердцу ближайшим славянам. Их значение колеблется. Финские данные сокращают круг действия северных славянских племен. Очень важно одно из последних заключений А. Спицына о длинных курганах озерного и верхнеднепровского района. В них видели памятники славянские, теперь же он отодвигает их к финнам. Г. Неовиус в последнем труде своем о движении скандинавов на Русь указывает на основании данных Стокгольмских архивов в приладожской области в местности Кексгольма озера Рурика Ярви (шведское произношение Рюрика). Пресловутые сообщения Нестора о приглашении иноземцев самими славянами исследователь вкладывает в уста колонистов-скандинавов, уже мирно осевших по берегам Волхова и Днепра. Странная для славян формула приглашения становится вполне типичною со стороны колонистов-пришельцев, зовущих ближайшего своего *Freiherr'a* в "свою" землю, где они осели, зовущих для порядка, для защиты торгового пути. Остроумно! И во всяком случае, почтенно желание объяснить дело возможно проще, практичнее, без ненужных уличений. Попутно вспомним, какой красоты места на севере Ладожского озера, вспомним длинный перечень пушных зверей, еще и теперь наполняющих бесконечный лес северного озерного края. Такие особенности издавна заманивали смелых людей. Статья Неовиуса называется "Om sprag af forhistorisk Skandinavisk kolonisation in Karden" (*Museum*, № 2, 1907). С разных сторон незнакомые друг другу исследователи, как видно, идут по одной северной тропе. Не измышления, но находки ведут их. Нам нужны всякие показатели скандинавского движения на восток. Все данные складывают вполне определенное представление о старинном господстве скандинавов в западной Финляндии. Все данные этого движения значительны, повторяю, тем более, что недавно еще было стремление хотя бы вопреки фактам выдвинуть только новгородские влияния среди финнов.

Спокойный морской проход шхерами. Удобные пристани. Высокие берега, легкая оборона. Лесные местности, полные зверем и птицей. Рыбные реки и озера. Все прелести остановок для мореходов прежде всего сосредоточили скандинавов на берегах в пределах *Porvo — Uusikirkko*. В глубину страны такие первоначальные влияния могут быть предположены в пределах *Tavastgusa*. Этим же путем с запада вошло и католическое христианство. Без больших последствий, кроме отдельных местечек Карелии, остались начинания братии с Валаама и Коневца, несмотря на основание Валаама в 992 году.

Нет ничего удивительного, что к XIII веку еще до известных походов на Карелию Торкеля Кнудсона, на западном побережье уже появились каменные храмы. Постепенно, благодаря ревнительству католицизма, храмы расписывались и украшались. Прочная кладка из гранитных валунов, крепчайшая связка соединений сохранили до наших дней древнейшие церкви Финляндии.

Не будем искать "небывалости" в простых строениях храмов, в их высоких фасадах, украшенных символическими крестами, в длинных окнах и низких дверках, теперь почти везде расширенных. Откровения в них не найдем.

То же видим мы в церквях Швеции, Дании и Померании, живописной Норвегии, Шотландии, Ирландии. Почти те же источники вдохновляли художников, те же средневековые, северные легенды и толкования подсказывали трактовку сюжетов. Иногда те же самые епископы, прибывшие из-за моря, призывали работников к делу. И все-таки группа финских храмов со стенописью стоит в ряду чрезвычайно интересных явлений северного края. Ведь то же самое о заносных влияниях всегда нужно говорить и в отношении русских церквей. Бояться ли нам сравнений с Афоном, Кавказом, Византией, с примитивами Италии? Конечно нет! Местное влияние, индивидуальное понимание источников везде сказалось. И в ранних стенописях Новгорода, Пскова и Ст. Ладоги — в перетолкованиях Византии, в Москве и Ярославле, где

запоздало в далекой дымке прошли итальянские примитивы. И, узнавая происхождение стенописей, невозможно представить, чтобы от исследований их поколебалось значение, а главное — обаяние наших памятников. Преемственность была всегда и везде. То, что красиво, интересно, курьезно, то остается таким же, несмотря ни на что. И этот принцип искусства надо хранить всеми силами. Только пристрастные глаза могут не видеть зримое во имя чего-то иного, виденного когда-то. Я как бы возражаю на довод, что церкви Финляндии не финские, а всецело шведские, что в них нет действительной оригинальности. Ведь разные бывают суждения!

В стенописи церквей финских есть, несомненно, особенности. Печать севера, печать более юного христианства, несомненно, присуща западнофинляндским храмам. На них нужно обратить внимание. Их окружают опасности. Большинство этих церквей теперь в скромных сельских приходах. Интерес к красоте древности там, конечно, очень различен, особенно же к красоте католической. Для многих протестантских пасторов украшения настенные — ненужная роскошь. Как памятники с близким иноземным (шведским) влиянием, старейшие храмы, по существу, не могут быть близкими значительной части населения. После суровых протестантских покровов средневековья большинство живописи еще и не вскрыто. Мне пришлось видеть белые стены, где красноватыми и темными пятнами неясно сквозили какие-то закрытые изображения. При изобилии древних церквей в западной Финляндии можно ожидать открытия целых интересных страниц северных декораций.

Известны также случаи, когда уже вскрытая живопись была замазана снова. Радость вандалам! — Было замазано то, что справедливо привлекало внимание английских и скандинавских ученых. Такое варварство случилось, между прочим, в Nousiainen'e со второю по древности церковью. Первая по древности считается Mariankirko, до 1300 года бывшая собором. Роспись в Nousiainen'e почти не опубликована, о ней ничего нет, кроме довольно старых брошюр г. Nervander'a (Kirkollilesta taiteesta Suomesla keskiaikana. Kirjoitta nut E. Nervander. Helsiugissa, 1887–1888). Текст брошюр — финский и шведский. Иллюстрации плохи; сделаны шрифтовой манерой. Только за неимением других источников приходится искать в этих брошюрах древнейшие изображения Nousiainen'a. В художественном виде эта замечательная стенопись издана не была.

Существует еще одно издание о старинных финских храмах, но вышло оно всего в 200 экземплярах и общественного значения иметь не могло, так как книгопродавцы и достать его даже не берутся.

Содержание изображений в Nousiainen окончательно объяснено тоже не было, часть позднейших наслоений не отбивалась. Теперь же вся церковь выбелена. Только по саркофагу епископа Генриха [\[15\]](#) — на нем интересные штриховые по меди иллюстрации к жизни епископа — и по инвентарной книге можно догадаться, что это та самая церковь, замечательная, из-за которой проделано столько верст плохой дороги.

О стенописи в Nousiainen пусть г. Nervander расскажет нам сам. Он видел стенописи в Nousiainen; он почему-то не отстоял их существование; ему скорей подобает умалить их значение, нежели возвеличить. Послушаем его старообразный язык и толкования, может быть устарелые.

"Совершенно особые росписи были открыты в Nousiainen в 1880 г. под другими слоями штукатурки. В христианских храмах ничего подобного еще находимо не было. Вся стенопись была в двух тонах, в кирпично-красном и сером. В том же году эти стенописи были вновь замазаны; вид этих изображений был слишком странным, даже отталкивающим для тех, кто ожидал встретить в храме картины, возвышающие религиозное чувство. Высоко на стенах, на колоннах и на сводах видны были частью симметрические, частью фантастические орнаменты, изображающие огромных птиц. Далее в орнаментах изображались разные звери, лоси,

единороги, лисицы, лошади, собаки, волки и фантастические существа — русалки. Кроме этого виднелись изображения щитов и несколько голов святых, обведенных тщательно исполненным сиянием. Затем шли изображения, как бы указывавшие на прибытие скандинавских завоевателей в Финляндию. Хотя слои извести были снимаемы осторожно, но живопись иногда все-таки страдала, так из лика Христа утрачена большая часть лица. Следующая часть живописи представляет древнюю ладью с высоким кормчим. Затем на стенописи (очень попорченной) виднелись две фигуры, готовящиеся к поединку: один всадник верхом на коне, перед ним маленькая собака, другой всадник, одетый в остроконечную лапландскую шапку, сидит на звере со многими ногами, около него зверь, похожий на волка. Этот поединок, быть может, — символическое изображение борьбы христианства с язычеством. Вероятно, такой же смысл имеет и другое странное изображение: налево дерево с птицами на ветках, еще одна птица порхает выше и на нее нападают две лисицы. Направо — большой зверь, видимо, лось или единорог с высунутым языком. Приблизительно такими зверями изображался прежде Христос. Ниже — палач, поднявший оружие и держащий за голову маленькое человекообразное существо; палач готовится ему отрубить голову, так же как поступил он с другими, чьи головы уже лежат по другую сторону креста. Если пытаться выяснить смысл этой очень странной картины, которая так плохо вышла в гравюре, то можно бы предположить, что изображает она благополучие тех, кто держится Древа Жизни, между тем как суетный мир с лисьей хитростью подстерегает людские души. Затем изображается Христос — господин жизни и смерти и судьба мучеников.

Эти стенописи являются близким подобием древнейших изображений Ирландии и Шотландии и нашли здесь, в христианской церкви, слишком запоздалое применение. Путь этих рисунков был через Готланд, с жителями которого обитатели Финляндии имели близкие сношения уже с древних времен".

Судя по иллюстрациям брошюры г. Nervander'a, изображения в Nousiainen напоминали рисунки и насечки на северных скалах "Hallristningar". В них чувствуются границы Палатинской капеллы и Чудских фигур — время, когда христианство наложило руку на священный шаманизм. Надо согласиться с Nervander'ом, что такое украшение церкви совершенно исключительно. Какое поразительное впечатление должен был производить такой высокий обширный храм, белый, покрытый по сводам, столбам, стенам красноватыми и серыми иероглифами северной жизни, как благородно сочетание таких красок! Несколько черт рисунка могли бы упразднить целые страницы догадок; какая-нибудь подробность, оставленная художником даже бессознательно, могла бы пролить свет на широкий край северного быта и Руси, конечно. Значение такого храма могло быть выше ковра Матильды. А теперь белые плоскости и страх, что драгоценное искусство не только замазано, но, может быть, и навсегда сбито.

Необходимо попытаться освободить эту стенопись. Я верю, если мою заметку прочтут: prof. Aspelin, prof. Jvar Heikel, J. Ailio, г. Arreegren — лучшие финские археологи, они с присущей им культурностью немедленно исправят ошибку прошлого. И сделают они это, может быть, еще лучше, нежели реставрация в Lohja, хотя там впечатление древности сохранено очень заботливо.

Сейм не оставит отпустить необходимые суммы на такое нужное дело!

По словам Необиуса, такая же судьба стенописи в Naantal'e, Porvo, Sjondea; все забелено!

Остались еще фрески в Kimito, Rymaltyla, Lohja, Hattula (1520 г.), Kumlinge, Rauma (стенопись произведена в 1510–1522 гг.), Tavasjalo (1450), Lieto, Pohja. В 1903 году открыты фрески в Sauvo, и в 1904 году отбита штукатурка в Pernio. В стенописи в Usikirkko интересно то, что кроме года известно имя художника Petrus Heinricson'a, закончившего труд в 1470 году.

К тому же времени, как и живопись в Nousiainen, т. е. к концу XII или к началу XIII в., относится очень полинялая фреска на внешней стене в Hattula. Фреска изображает Распятого,

окруженного Марией и Иоанном. Красивая, простая трактовка живо переносит зрителя в XII век. Растительный орнамент, очень тонко исполненный, красиво расположен вокруг этой замечательной фрески.

Как звено между древнейшей живописью *al'secco* и более поздней, уже из XV века, можно указать орнаменты в *Hattula*. Богатые сочетания фруктов и цветов. Краски: зеленая, белая, синяя, красная и серая. Из стенописей XV века прежде всего следует заметить украшения в *Tevsala*, их время относится к епископу Олафу Магнусону (1450–1460); герб его изображен на стенах церкви. Древние изображения в *Tevsala* должны считаться одними из лучших в Финляндии; тем досаднее, что часть (!) их еще не вскрыта из-под штукатурки.

Чаще всего стенопись храмов сохранилась лишь частями, так что трудно говорить о впечатлении от общего вида.

Одно из самых полных впечатлений производит церковь в *Lohja*. В 1886 году живопись в *Lohja* и *Hattula* была освобождена от штукатурки, и сравнительно благополучно, а четверть века уже сровняли кое-какие красочные шероховатости возобновления. Церковь эта известна уже в 1290 году, когда *Lohja* была одним из крупнейших приходов Финляндии. Здание храма — большой продолговатый корабль с двумя боковыми притворами. На высоком фронте белый крест, охраняющий здание, по сторонам — символы двух естеств Господа. Подле храма колокольня; нижний этаж сложен из крупных валунов, верх — деревянный. Общий вид колокольни, надо думать, XVI века. Живопись храма относится к 1489–1500 годам, для финских храмов — средний период. Есть указания, что храм был украшен неизвестной нам художницей из числа монахинь монастыря в *Naantal'e* близ Або. Части стенописи имеют много общего с изображениями из *Breviarium Upsalense* 1496 г. Из других вещественных дат мы видим в руках одного из ангелов герб последнего католического епископа Арвина Курка, умершего в 1523 году. Часть изображений, конечно, пострадала при расширении окон и дверей, а также закрыта органом, прислоненным над главным входом.

Притвор храма занят сценами убийства Авеля и проделками дьявола над людьми. Дьявол в виде собаки пьет молоко из подойника под коровой, чтобы перенести это молоко человеку, продавшемуся ему. Дьяволы сидят на норовистых лошадях, дьяволы помогают палачам, терзающим мученика, дьяволы помогают слугам своим при полевых работах.

В самой церкви живопись начинается от вышины плеча и идет через все своды и стены. На столбах, в два ряда держащих своды в середине церкви, — большие изображения одиночных святых и апостолов.

Большие плоскости и своды заняты изображениями Рая, Изведения из ада, Избиения грешницы камнями, Родословной Христа, Христофора Богоносца, Богоматери и несколькими сценами страстей Господних. Среди изображений святых особенно излюбленными являются св. Екатерина Шведская (канонизированная в 1479 г.), св. Генрих и Лалли. Краски лежат широкими плоскостями в резко очерченных складках.

Между фигурами — орнамент. Пустые места заполнены звездочками. Фон белый. Мне ясно, почему нужны были такие ярко ограниченные изображения на светлой поверхности: при первоначальных размерах низких и узких окон при высоте храма нужна была определенная декорация. Понятен и сумрак храма. Храм — духовная крепость; храм — убежище от врага — должен тонуть в интимном сумраке.

Для душевных откровений не нужен свет площади. Здесь человеческое чувство не уступило букве католицизма. Древние сознавали то, что теперь уничтожено нашим безразличием. Люди, увеличившие окна и двери, не знали, что творили. Теперь только в вечернем сумраке можно получить настоящее, первоначальное впечатление декорации. Стены и своды храма, как я говорил, сложены из больших малоотесанных валунов. Грани камней выходят из поверхности

стены и разбивают плоскость неожиданным рисунком углов и извилистых линий. Думали ли создатели о таком впечатлении, но заботливое время украсило и довело простые изображения до сложной мягкости искусства наших дней. Пыль легла на все выпуклости камней, и вместо холодной стены в мягких складках струится шелковистый гобелен. Белая поверхность под патиною времени получила все тепловатые налеты ткани; фигуры не вырезаются более острыми линиями контура; мягко преломляются одежды; орнамент дрожит непонятными рунами. Время сложило красоту, общую всем векам и народам.

Финны, любите и сумейте сберечь ваши старейшие храмы!

# Тихие погромы

Скучно быть обидчиком и ругателем.

Скажут: "злой человек!"

— Не умеет жить в "хорошем" обществе. Трогает, что не следует. Не умеет вовремя закрыть глаза и заткнуть уши. Только себе вредит.

Сожалеют доброжелатели.

И вот учишься быть благодушным. По возможности не смотреть, меньше знать, делать свое дело. Пусть себе! Снова поклоны становятся внимательнее и взоры мягче. Предполагают: "кажется, летний отдых повлиял благоприятно".

Но дорога русского благодушия полна бесконечных испытаний.

Нельзя выехать никуда. Из дома нельзя выйти.

Каждая встреча приносит престранные сведения.

Как быть с ними?

В каталоге смоленского городского археологического музея приходится читать:

"...окаменелые дождевые черви, окаменелые сыроежки, голова идола с чертами, проведенными масляной краской, и т. п. редкости".

Смеешься и благодушествуешь:

— Ну, черви так черви! Сыроежки так сыроежки. Шут с ними, и с червями, и с Писаревым, и с Орловским, которые так научно написали.

Рассказывают о бывших исчезновениях предметов из новгородского музея.

Все-таки благодушествуешь.

— Может быть, вещи попали в более надежные руки. Опять же и предопределение!

Передают о вновь найденном в раскопке идоле, который несколько лет назад пропал из костромского музея. Стал невидим (так не будет ничего преступного).

Неукоснительно благодушествуешь:

— Да процветает научная точность и безукоризненность.

Да здравствуют точные выводы, построенные на фактах из раскопок! Да живет точное распределение веков и предметов!

Шепчут, как из собраний одного еще не открытого музея уже стали исчезать вещи.

Собираешься с силами и благодушествуешь.

— Хоть и плохое начало для музея, но хвала Создателю, если начали пропадать вещи еще до открытия музея, иначе неприятности было бы больше.

Показывают, как в Мирожском монастыре, после недавней "реставрации" Сафонова, обваливается вся живопись; там погибает превосходный памятник.

Приходится уже плохо, но кое-как благодушествуешь:

— Сафонов уже много храмов испортил. Прибавим к этому синодику еще одно имя, ведь, все равно Сафонову поручат новые работы. Все равно не остановишь шествия вандалов.

Пишут горестные письма и ведут показать, как чудесного седого Николу Мокрого в Ярославле сейчас перекрашивают снаружи в желтый цвет, да еще масляной краской. Причем совершенно пропадает смысл желтоватых фресок и желтовато-зеленых изразцов, которыми храм справедливо славится.

Пробуешь неудачно "благодушничать", — так больше похоже на "малодушничать".

Таков обычай страны...

При этом упорно твердят, что новое варварство в Ярославле делается с ведома археологической комиссии. Будто бы комиссия разрешила и масляную краску.

Опять плохо благодумничаешь:

— Если комиссия избрала холерный цвет, пусть так и будет, теперь в Петербурге холера. И, вообще, не обижайте комиссию. Так и говорю. Слышите!

Но здесь благодумничанье окончательно покидает. Становится ясно, что никакая комиссия не может разрешить и знать то, что делается сейчас в Ярославле.

Никто, сколько-нибудь имеющий вкус, не может вынести, чтобы белого Николу с его чудными зеленоватыми изразцами обмазали последствиями холеры.

Это уже невыносимо.

Или тут жестокий поклеп на археологическую комиссию, или не завелась ли у нас подложная комиссия.

Пусть настоящая комиссия разъяснит в чем дело. Пусть комиссия печатно объявит, что все, что делается с Николою Мокрым, сделано без всякого ее ведома и должно быть строго наказано.

При этом пусть комиссия все-таки пояснит, кто из художников решает в ней живописные вопросы.

По всей России идет тихий мучительный погром всего, что было красиво, благородно, культурно. Ползет бескровный, мертвящий погром, сметающий все, что было священного, подлинного.

Когда виновниками таких погромов являются невежественные городские управления, когда в погромах действуют торгаши-иконописцы, потерявшие представление о "честном живописном рукоделии", когда презирает святыни спесивая администрация, — тогда все ясно, тогда остается горевать. Остается утешаться примерами дикости из прежних веков.

Но когда среди имен вандалов клеветают на Императорскую археологическую комиссию, тогда в смятении умолкаешь.

Куда же идти?

Кто же защитит прекрасную древность от безумных погромов?

Печально, когда умирает старина. Но еще страшнее, когда старина остается обезображенной, фальшивой, поддельной. Это страшнее всего и больше всего подлежит наказанию.

Кто бывал в Ярославле и видал храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, тот теперь не узнает его.

Храм "промыт".

Это тот самый храм, про который я уже писал:

"Осмотрите в храме Иоанна Предтечи в Ярославле. Какие чудеснейшие краски вас окружают! Как смело сочетались лазоревые воздушнейшие тона с красивой охрой! Как легка изумрудно-серая зелень и как у места на ней красноватые и коричневатые одежды! По тепловатому светлому фону летят грозные архангелы с густыми желтыми сияниями, и белые их хитоны чуть холоднее фона. Нигде не беспокоит глаз золото, венчики светятся одной охрой. Стены эти — тончайшая шелковистая ткань, достойная одевать великий дом Предтечи!"

Так, искренно, пелось об этом замечательном храме. Теперь дом Предтечи "археологически" промыт. Промыт будто бы под призором археологической комиссии.

На "промывку" и восстановление потрачено, как говорят, около шестидесяти тысяч рублей.

Вся поэзия старины, вся эпидерма живописи смыта богомазами.

Достоинство храма до "исправления" было безмерно выше. Говорим так небездоказательно.

Каждый из художников, бывших прежде у Иоанна Предтечи, конечно, вспомнит, насколько было лучше.

Было художественнее, было тоньше, было благороднее, было несравненно ближе к великолепным стенописям Италии.



Пропал теперь тонкий серо-изумрудный налет травы, пропали серые полутоны всех белых частей стенописи, исчезла синева — выскочила синька.

Словом, все то глубоко художественное и религиозное, что струилось и горело в живописном богатстве, — все это небесное стало земным, грубым, грешным.

Искусство, одухотворенное священной кистью времени, "поправили"!

Самомнительно и святотатственно разрешили великую задачу, связующую мудрость природы, работу времени и труды человека.

Пришел некто "серый" и решил, что все законченное временем не нужно, что он — "малый" — знает лучше всех, как следует сиять будто бы лишние покровы.

Не кто иной, как он — "маленький", — знает, какие именно были люди, отделенные от нас резкими гранями культуры.

Как далеко такое самомнение от проникновенного стремления сохранить, от желания уважать, любить любовью великой.

Даже храм, прекраснейший своими чертами и красками, не способен был вызвать заботливую, ревнивую любовь.

Да существует ли она на самом деле?

И так, понемногу, в тишине громится духовное богатство Руси.

Незаметно погромляется все то, что было когда-то нужно, все то, что составляло действительное богатство и устои народа.

Погром страшен не только в шуме и свисте резни и пожаров, но еще хуже погром тихий, проходящий незаметно, уносящий за собою все то, чем люди живы.

Позади остаются мертвые скелеты. Даже фантастический "танец смерти" не свойственен неподвижным "промытым" остовам.

И вводится в заблуждение народ, и не может отличить он, где источники живые и где мертвящие.

Толкуя о высоких материях, мы учим молодежь по мертвым буквам. Учим на том, что "промыто" невежественной рукой. Будем учить по подложному!

Те, кто решается сказать, что сейчас храм Иоанна Предтечи выглядит лучше, нежели был семь лет тому назад, — могут ли они утверждать, что видели его теперь и тогда.

Если не видели, то не должны и говорить.

Если видели и все-таки скажут, что храм теперь лучше, — тогда пусть займутся сапожным ремеслом.

Стенопись храма Иоанна Предтечи в Толчкове испорчена.

Кто же это сделал? Кто наблюдал?

Защищайтесь!

Не думайте отмолчаться. Не думайте представиться, что вопрос ниже вашего достоинства.

Спрашиваю не я один, беспокойный.

Ждут ответа тысячи людей, которым искусство и красота старины близки.

Даже скромный ярославский обыватель шепчет:

— Ведь не мягкой щеточкой, не ситным, а водою да зеленым мылом стены-то мыли. Да и заправляли тоже! А разве новое-то под старину подойдет?

Почти безграмотный человек почувствовал возмущение и шепчет его робкими словами.

Дом Предтечи стал просто церковью, где продаются свечи, требы, молитвы.

Кто же следил за этим "делом"?

На какого художника возложила археологическая комиссия такое ответственное, творческое обновление работы времени и многих неведомых людей?

В комиссии бывают архитекторы, но пусть скажут, кто из художников взялся так нелепо,

по-варварски обойтись с прекрасным стенным покрытием?

Пусть непременно скажут.

Такое имечко надо записать "погромче".

Ведь не могли же трогать живопись без живописца.

Это ясно.

Вообще, положение охранения памятников осложнилось еще тем, что, чем бы ни ужаснулся зритель, ему слишком часто отвечают:

— Сделано с ведома археологической комиссии. Неуместный проблеск благодушия. Не злоупотребляют ли именем археологической комиссии?

Не завелась ли где-нибудь подложная комиссия? Теперь так много подлогов.

О надзоре за "промытием" храма Иоанна Предтечи в Толчкове пусть археологическая комиссия непременно все разъяснит.

На нее в народе растет слишком неприятное и очевидное обвинение.

1911

Всероссийский съезд художников в Петербурге в будущем году состоится.

Все-таки состоится.

Говорю "все-таки", так как до последнего времени не был другом такого предприятия.

Идея съезда художников никаких особенных чувств не возбуждала. Было изумление "объединению" художников. Был эгоистический интерес к любопытному собранию, но никаких серьезных ожиданий не было.

Можно признаться в этом теперь, когда находится повод к созыву съезда.

Ко всяким съездам и сборищам приходится относиться очень осторожно.

Все мы знаем, что на людях, в шуме и сутолоке никакой настоящей работы не делается. Только творческое одиночество кует будущие ступени жизни.

Сборище, съезд, прежде всего — завершение, больше всего итоги.

На первый взгляд кажется, какие же итоги подводить сейчас нашей художественной жизни?

На чем, на каком языке могут сговориться художники, художественные разноверцы?

Желать, чтобы слепые глаза прозрели? Плакаться на пошлость? Требовать проявления интереса там, где его нет и где его быть не может? Жалеть о чьей-либо бедственности? Ждать, чтобы уродившееся безобразным сделалось красивым?

Представьте, как о таких предметах заговорят люди, друг друга исключаящие!

Бог с ними, с тому подобными итогами. Они и без съезда сами себя подвели.

И что общего имеют они с ярким, значительным искусством, освятить которое может лишь время?

Желать ли художникам несбыточного объединения? (Под объединением часто понимаются не культурные отношения, а нетерпимо близкое приближение друг к другу.)

Стремиться ли художникам устроить еще одно собрание и еще раз "проговорить" то время, что так драгоценно для труда и совершенствования?

Если бы вернулась хоть часть давно бывшего сознания в блестящем, самодовлеющем мастерстве, для которого надо дорожить всяким часом! Если бы век наш был веком слонов или мамонтов! Если бы работающие сознавали, сколько времени ими тратится без пользы для их собственного дела!

Думать ли художникам о всяких уравнениях? Чтобы никто не выпал из строя, чтобы никто не выскочил. Мечтать ли о блаженном времени, когда не будет бездарных, когда не будет талантливых? Мечтами о единении, мечтами о равном строе сколько художников было отрывается от работы. Страшно сосчитать, сколько художников "объединительные" разговоры перессорили.

Говорить ли на съезде о технике дела, — но и в этой части искусства следует опять-таки не столько говорить, сколько делать.

Все такие темы так обычны для съезда, что для них не стоило бы отрываться от мастерской.

Даже не так важно и охранение художественной собственности. Главное, было бы, что охранить.

Все это обыденно, все это незначительно. Более похоже на сплетни, нежели на звонкое, здоровое дело.

Но другом съезда все-таки сделаться стоит.

В культурных слоях общества последнее время замечаются благодатные признаки.

Подводя итоги бывшей суматохе искусства, съезд может подумать о бодром движении художественной мысли.

В самых разнохарактерных сердцах сейчас вырастает одно и то же красивое чувство обновленно-национальных исканий.

Неизвестно, как и почему, но обнаружился общий голод по собственному достоинству, голод по познанию земли со всем ее бесценным сокровищем.

Люди узнали о сложенных где-то духовных богатствах.

В поисках этих сокровищ все чары, все злые нашептывания должны быть сметены.

То, что казалось заповедным, запрещенным должно стать достоянием многих. Должно обогатить.

В первоначальной программе съезда имеются следующие строки, совершенно не новые, но всегда нужные:

— "Замечаемый ныне в русском искусстве национальный подъем свидетельствует о внутренней работе великого народа, создавшего еще на заре своей жизни своеобразное зодчество, иконопись, обвеянные поэзией былины и сказания, сложившего свои поэтические песни".

— "Сильная страна не порывает связей со своим прошлым, но прошлое это еще недостаточно изучено, а художественные памятники его пропадают с каждым днем. Обязанность тех, кто смотрит вперед, — пока еще не поздно и время не стерло всех его следов, — сберечь русское народное художественное достояние, направив в эту сторону внимание наших художественных сил".

В обычных культурных словах чувствую не обычную, поношенную почву национализма; в них, судя по общему, часто скрываемому настроению, есть нечто новое.

Какой-то всенародный плач по прекрасному расхищаемому достоянию!

Всенародный голод по вечно красивому!

Приведенные строки воззвания ближе мне, нежели очень многим.

Более десяти лет назад, с великого пути из Варяг в Греки, с Волхова, я писал:

— Когда же поедут по Руси во имя красоты и национального чувства?

С тех пор, учась у камней упорству, несмотря на всякие недоброжелательства, я твержу о красоте народного достояния.

Твержу в самых различных изданиях, перед самой разнообразной публикой.

Видеть защиту красот старины на знамени съезда для меня особенно дорого.

Еще слишком много сердец закрыто для искусства, для красоты!

Еще слишком много подложного находится в обращении. Попытаемся разобраться!

Главное, не будем же наконец закрывать глаза на очевидное.

Мы научены всякими неудачами. Много превосходных слов оказалось под незаслуженным запретом. Многим поискам дано несправедливое толкование. Но душа народа стремится ко благу. Вместо сокровища случайной нации, народ начинает отыскивать клады земли.

В пророческом предвидении народ от преходящего идет к вечному.

Конечно, найдутся злые люди и назовут новые ясные чувствования пустыми мечтами. Разрушители!

На каком языке доказать им, что стертые монеты национализма заменяются чудесным чеканом новых знаков?

Лишенным веры как передать, что "будущее в прошлом" но есть парадокс, но есть священный девиз. Этот девиз ничего не разрушает.

Индивидуальность, свобода, мысль, счастье — все принимает этот пароль.

Не ошибка сейчас поверить в рост глубокого здорового чувства — неонационализма.

Сознаемся, что название еще не удачно.

Оно длинно. В нем больше старого, чем нового.

В обозначении нового понятия, конечно, необходимо участие слова "земля".

Принадлежность к почве надо подчеркнуть очень ясно.

Не столько определенные люди, сколько их наслоения являются опорой нашему глубокому чувству.

Мощь развивается в столкновении острой индивидуальности с безыменными наслоениями эпох. Вырастает логическая сила. Около силы всегда гнездится и счастье.

Пока трудно заменить неонационализм новым словом.

Не это важно. Необходимо сейчас отыскивать признаки обновленного национализма.

Значительно вот что:

Именно теперь культурные силы народа небывало настойчиво стремятся узнавать прошлое земли, прошлое жизни, прошлое искусства.

Отстаиваются все случайные толкования. Новое чувство родит и новые пути изучения. В стремлении к истине берут люди настоящие первоисточники.

Становится необходимым настоящее "знание". Не извращенное, не предумышленное знание!

С ужасом мы видим, как мало, как приблизительно знаем мы все окружающее, всю нашу бывшую жизнь. Даже очень недалекую.

От случайных (непрощеных) находок потрясаются самые твердые столпы кичливой общепризнанности.

В твердых залогах знания мы начинаем узнавать, что ценна не отдельная национальность. Важно не то, что сделало определенное племя, а поучительно то, что случилось на нашей великой равнине.

Среди бесконечных человеческих шествий мы никогда не отличим самого главного. В чем оно?

Не все ли равно, кто внес больше красоты во многогранник нашего существования.

Все, что случилось — важно. Радостно то, что красота жизни есть, и дали ее велики.

Древняя истина: "победит красота".

Эту победу можно злоумышленно отсрочить, но уничтожить нельзя.

Перед победой красоты исчезают многие случайные подразделения, выдуманные людьми в борьбе за жизнь.

Знать о красивых, о лучших явлениях прошлой жизни хочет сейчас молодежь. Ей — дорогу.

С трогательной искренностью составляются кружки молодежи. Хочет она спасти красоту старины; хочет защитить от вандалов свои юные знания.

Кружки молодежи в высших учебных заведениях готовят полки здоровых и знающих людей.

Знаю, насколько упорно стремятся они знать и работать.

Помимо казенных установлений, общество идет само на постройку искусства.

Создаются кружки друзей искусства и старины.

В Петербурге сложилось общество друзей старины.

В Смоленске кн. М. К. Тенишева составляет прекрасный русский музей.

По частному начинанию общества архитекторов-художников создан музей Старого Петербурга.

В Киеве основывается общество друзей искусства.

Будет нарастать художественный музей, собранный по подписке. Давно с завистью мы смотрели на пополнения музеев за границей на подписные деньги.

Для художника особенно ценно желание сохранить его произведение, высказанное большой группой лиц.

Такими реальными заботами только может парод выразить свою действительную любовь к

искусству.

Наше искусство становится нужным.

Приятно слышать, как за границей глубоко воспринимается красота нашей старины, наших художественных заветов.

С великой радостью вижу, что наши несравненные храмы, стенописи, наши величественные пейзажи становятся вновь понятыми.

Находят настоящее свое место в новых слоях общества.

С удовольствием узнаю, как Грабарь и другие исследователи сейчас стараются узнать и справедливо оценить красоту старины. Понять все ее великое художественное чутье и благородство.

Только что в "Старых Годах" мне пришлось предложить открыть всероссийскую подписку на исследование древнейших русских городов, Киева и Новгорода.

Верю, что именно теперь народ уже в состоянии откликнуться на это большое культурное дело.

Миллион людей — миллион рублей.

Мы вправе рассчитывать, что одна сотая часть населения России захочет узнать новое и прекрасное о прежней жизни страны.

Такая всенародная лепта во имя знания и красоты, к счастью, уже мыслима. Надо начать. Настало время для Руси собирать свои сокровища.

Собирать! Собирать хотя бы черновой работой.

Разберем после. Сейчас надо сохранить.

Каждому из нас Россия представляется то малой, то непостижимо большой.

Или кажется, что вся страна почти знакома между собой.

Или открываются настоящие бездны неожиданностей.

Действительно, бездны будущих находок и познаний бесконечно велики.

Приблизительность до сих пор узнанного — позорно велика.

О будущем собирательстве красоты, конечно, надлежит заговорить прежде всего художникам.

Лишь в их руках заботы о красоте могут оказаться не архивом, но жизненным, новым делом.

Кладоискатели поучают:

"Умей записи о кладах разобрать правильно. Умей в старинных знаках не спутаться. Умей пень за лешего не принять. Не на кочку креститься. Будешь брать клад, бери его смело. Коли он тебе сужден, от тебя не уйдет. Начнет что казаться, начнет что слышаться, — не смотри и не слушай, а бери свой клад. А возьмешь клад, неси его твердо и прямо".

Художественный съезд может поговорить и порешить многое о великих кладах красоты, минуя все обыденное.

Если не будет разговоров зря, то этот обмен мнениями, а главное, фактами, пойдет впрок русскому искусству.

Русло неонационализма чувствуется.

Придумаем движению лучшее название.

Слова отрицания и незнания заменим изумлением и восхищением.

Сейчас необходимо строительство

# Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Любящий и знающий искусство человек только что пишет мне:

— Нужно написать что-либо по поводу опасности разрушения, грозящего церкви Ильи Пророка в Ярославле. Неужели и этот памятник погибнет?

Новых сведений о несчастьях церкви Ильи Пророка у меня нет, но то состояние, в каком я видел храм два года назад, вызвало серьезные опасения. Если же за это время трещины в сводах не остановились, то недолго и до серьезного разрушения.

В недавнее время сильно пострадали две выдающиеся церкви Ярославля — Николы Мокрого и Ивана Предтечи. У Николы выкрасили желтой масляной краской чудесную белую с зелеными изразцами колокольню. Неслыханное безобразие! Церковь Ивана Предтечи внутри п р о м ы л и; чистили так свирепо, что снесли все нежные налеты красок. Навсегда пропал чудный лазоревый фон и матово-золотистая охра.

Не верю, чтобы после двух обидных недосмотров (выражаясь мягко) и третьему замечательному памятнику Ярославля грозила бы беда разрушения или смывки.

Деньги на поддержание церкви Ильи Пророка должны найтись в изобилии; ведь не оскудел еще Ярославль богатыми людьми. Самое исполнение работ должно быть безотлагательно поручено знающим и понимающим красоту старины людям. Не жестоким старателям и не холодным чиновникам. Теперь с каждым годом все пристальнее следят за памятниками старины тысячи любящих глаз.

Церковь Ильи Пророка не должна погибнуть. Прекрасные стены в теплых радостных красках, затканые чудесной живописью, должны стоять. Мы должны знать, что глупое темное время, когда расхищались, разрушались народные сокровища, ушло навсегда.

Ярославцы не осрамятся, не забудут про Илью Пророка.

# Памятник Св. Ольге

Собрались ставить во Пскове памятник княгине Ольге. Идут разговоры. Что важнее всего, имеются в наличности деньги. Дело оформилось, и можно о нем сказать.

При обсуждении подробностей памятника возникает масса трудных вопросов. Как решить, какой именно следует поставить памятник? На кого возложить ответственность? Кто поручится, что по близости поэтического Детинца не окажется пренеприятное сооружение? Кого призвать к исполнению? Которое место счесть лучшим для памятника?

Открывается бездна хлопотливых соображений; в результате, может быть, тихий забытый Псков "украдется" посредственной фигурой. Вместо праздника произойдут скучные бесконечные нарекания.

Досадно, что предпринимается нечто трудно выполнимое в то время, когда в Пскове уже создан интересный памятник, драгоценный для города, типичный для края. Этот уже сложившийся памятник может быть посвящен св. Ольге.

Говорю об известных собраниях Плюшкина. О всем том, что собрано в сорокалетнем труде рукою псковича, спасшего многие вещи от уничтожения. Несмотря на предметы малой ценности, которые неминуемо нередко попадают в частные собрания, в коллекциях Плюшкина имеются и прекрасные вещи. Из них может составиться целый отдел областного музея и то, что так спорно для приобретения в Петербурге, сейчас легко может остаться в Пскове.

Культурное дело древнехранилища имени св. Ольги вполне достойно дел первой княгини. Собранное Плюшкиным ценно именно для псковского края. Начиная от первобытных древностей и кончая обиходными предметами из исчезающих домов псковского дворянства, все складывает для зрителя поучительную картину, ценный документ. В таком собрании, сложенном самой жизнью без предвзятой идеи, можно установить любопытные наслоения русской областной жизни. Во всем богатстве развернется перед исследователем пестрый конгломерат достижений высокой утонченности и полуформенного детского лепета. Яркая русская картина.

Уже немецкие и английские предложения будто бы приближаются к собраниям Плюшкина, вывоз русских вещей за границу, может быть, опять становится возможным, к общему нашему смущению. Денег на приобретение собраний ждать нечего и тут же рядом будет лежать капитал для ольгинского памятника!

Памятники должны вполне отвечать сущности лица, которому они посвящены.

Разве может ответить широко думавшей княгине Ольге памятник-фигура, конечно, вовсе не схожая с оригиналом? Только памятник-музей, который в будущем запечатлеет всю жизнь родного края, может быть достойным памяти св. Ольги.

Памятник-музей приличествует св. Ольге, собирательнице земли. Музей трудно собрать, и надо думать, само время подготовило такой памятник во Пскове. Подумайте и решите!



Общество архитекторов-художников согласилось с моим предложением. Решено открыть всероссийскую подписку на исследование древнейших русских городов, Новгорода и Киева. Признано, что в деле общекультурных устоев страны уже пора обращаться не только к правительственным учреждениям, но прежде всего к народу. Уже надлежит народу знать свою историю, знать свои сокровища, беречь свои богатства.

Встретились два приятеля.

— Слышали, будете собирать деньги на исследование городов?

— Будем. Скоро начнем. Уже слышим сочувственные отклики.

— Только вам на эти дела не дадут денег-то.

— Отчего? Разве на худое подбиваем?

— Кому какое дело до исследования прошлой жизни? Кому надо знать прошлые культуры? У нас города без фонарей, без водопровода, без путей сообщения, а вы о раскопках...

— Не клеветайте на народ. Из ста тридцати миллионов людей если одна двадцатая часть задумается о значении древности, и то составит крупная сумма. По рублям полмиллиона соберется.

— Хотите держать пари, что ваша подписка плохо пойдет?

— Лет десять назад согласился бы с вами. Но с тех пор страна перешагнула большие культурные грани. Умы задумались над такими неожиданными задачами, что немислимое мыслимым стало. Уже стало почетным участвовать в исследовании забытой поучительной жизни. Уже поняли былинную красоту древности. Даже грубейшие люди стали понимать, что древности составляют подлинные сокровища.

— Все-таки трудно вам отыскать сочувствующих. Слишком велика страна. Слишком трудно вам найти друг друга.

— В этом вы правы. Нашему спросу и предложению встретиться не легко. Обиднее всего сознавать, что и сейчас, в эту самую минуту, где-то на Руси сидит кто-нибудь и придумывает, к чему бы приложить свои средства.

— А если вы соберете мало, всего тысяч десять, двадцать, разве стоит с такими средствами приниматься за большие дела?

— Всегда стоит. Даже с самыми малыми средствами можно добыть превосходные памятники прошлого. Слишком земля насыщена находками. Кроме того, во время самой работы легче всего могут подойти средства. Первые удачные находки могут всколыхнуть новую волну интереса.

— Значит, уповаете на свое упрямство?

— Именно так. Только кремневым упрямством можно двигать культурные дела. Вспомните, как составил музей в Нюрнберге или как Северный музей в Стокгольме создан лишь частными силами. Одна всенародная лотерея в Швеции дала для музея на наш счет полтора миллиона рублей. Неужели большая Россия, по-вашему, хуже и глупее, нежели маленькая Швеция?

И у нас есть примеры единоличных, сильных начинаний. Хотя бы посмотреть, как быстро двигает музей Академии наук В. В. Радлов. Это дело растет прежде всего его сильным желанием сделать полезное.

— Конечно, все это так. Но все-таки я опасаясь за ваше дело.

— Что же, по-вашему, наше дело скверно, нечестно, недостойно, спекулятивно, глупо?

— Конечно, нет. Когда-нибудь поверят, что ваши доводы были своевременны и полезны, а

теперь убоятся новых выступлений.

— Наконец-то вы договорились. Вы сказали истинное слово "убоятся". Во все можно уверовать. Всякий спрос найдет предложение. Всякая воля может быть убеждена полезностью дела, но "страх" труднее всего побороть. В нашей русской жизни слишком много страха, маленького серого страха. Мы боимся будней. Мы боимся громко заговорить. Боимся высказать радость. Боимся переставить вещи. Боимся подумать ясно и бесповоротно. Мы легко примиряемся с тем, что нам что-то не суждено. Мы боимся заглянуть вперед. Боимся обернуться назад в беспредельную, поучительную жизнь, нужную для будущего. Но от страха, наконец, нужно лечиться. Пора перестать бояться темноты и призраков, в ней живущих. Все-таки я верю, что Россия, неожиданная, незнаемая Россия, готова для бодрой культурной работы.

— Хочу верить подобно вам. Исследуйте старинную жизнь. Заодно исследуйте и живущих людей, наших общих знакомых. Когда-нибудь непременно расскажите, как и кто отозвался на ваши призывы. У вас составятся любопытные воспоминания.

В безверии ушел один приятель.

Другой хотел ободрить.

— Ну, что ж, если средств не найдется, то, по крайней мере, хоть полезный разговор выйдет.

Опять разговор. Неужели опять только всенародный разговор?

Должно, наконец, в России начаться и дело.

Будем твердить и верить.

# Великий Новгород

— "Бояху-бо ся звериноного их нрава", — замечает о новгородцах Никоновская летопись.

Боялись князья идти управлять сильными, непокойными ильменцами.

Но напороочила Марфа Посадница. Стал Великий Новгород самым скромным, самым тихим из русских городов.

Притаился.

Скрыл свой прежний лик. Никто не представит себе, как тянулся великий, пестрый, шумный Ганзейский город на версты до Юрьевского монастыря, до Нередицы, до Лядки. Никто не признает жилым местом пустые бугры и низины, сейчас охватившие Новгород.

Даже невозможно представить, чтобы когда-нибудь новгородцы:

— "Были обладателями всего Поморья и до Ледовитаго моря и по великим рекам Печоры и Выми и по высоким непроходимым горам во стране, зовомой Сибирь, по великой реке Оби и до устья Беловодныя реки: тамо бо беруще звери дики, серечь соболи".

Трудно поверить, как ходили новгородцы до моря Хвалынского (Каспийского) и до моря Венецийского.

Невообразимо широк был захват новгородских "молодых людей". Молодая вольница непрерывно дерзала и стремилась. Успех вольницы был успехом всего великого города. В случае неудачи старейшинам срама не было, так как бродили люди "молодшие". Мудро!

Но везде, где было что-нибудь замечательное, успели побывать новгородцы. Отовсюду все ценное несли они в новгородскую скрыню. Хранили. Прятали крепко.

Может быть, эти клады про нас захоронены.

В самом Новгороде, в каждом бугре, косогоре, в каждом смыве сквозит бесконечно далекая обширная жизнь.

Черная земля насыщена углями, черепками, кусками камня и кирпича всех веков, обломками изразцов и всякими металлическими остатками.

Проходя по улицам и переулкам города, можно из-под ноги поднять и черепок X–XII века, и кусок старовенецианской смальтовой бусы, и монетку, и крестик, и обломок свинцовой печати...

Глядя на жирные пласты прошлых эпох, не кажется преувеличенным сообщение В. Передольского, что жилой слой новгородской почвы превышает семь саженей.

Вы идете по безграничному кладбищу. Старое, изжитое место. Священное, но ненужное для жизни.

Всякая современная жизнь на таком священном кургане кажется неуместной, и, может быть, не случайно сейчас глубоко усыплен временем Великий Новгород.

Пора серьезно опять обратиться к старому Новгороду.

Обстоятельства создают и собирателей. Но их мало.

Собрание Передольского с его широкими, но путаными замыслами лежит под спудом, а между тем оно важно для Новгорода так же, как собрание Плюшкина близко Пскову.

Да оно и много лучше собрания Плюшкина.

Следует помогать таким собирателям. Но не хватит у города находчивости из этих собраний сделать продолжение своего расхищенного музея.

Поймут ли "отцы города", что в их руках сейчас не рыбное, не лесное, не хлебное дело, а единственное подлинное сокровище — бывшее Новгорода со всеми его останками?

В 1911 году Великий Новгород будет праздничным.

После долгих сомнений справедливо решено собрать в Новгороде археологический съезд.

Во главе съезда опять будет отзывчивая гр. П. С. Уварова. Она умеет поднять людей, умеет и взять дело пошире. В ней есть то, чем "любитель" часто одолевает "специалистов". Ко времени съезда Новгороду придется показать многое из того, что скрыто сейчас.

Мое предложение образовать музей допетровского искусства и открыть всероссийскую подписку на исследование Новгорода, древнейших городов русских было встречено очень многими сочувственно.

Мне кажется, не откладывая, следует всеми силами начать собирать средства.

Находки из этих исследований, — а их будет огромное количество, — должны поступить в музей допетровского искусства и быта. Как ни странно; но до сих пор в столице нет многоцельного историко-бытового музея.

Отдельные находки сосредоточены в Эрмитаже, в археологическом обществе и археологическом институте. Небольшие отделы находятся в Академии наук, в артиллерийском музее, в хранилищах университета, но все это разрознено, часто трудно доступно.

Нужен в Петербурге музей, равный по значению московскому историческому. И России, где находки еще только начинают выявляться, следует подумать о материалах для такого хранилища. Конечно, начнем с Новгорода и Киева.

Несколько обществ, несколько издательств могут приняться за это большое культурное дело.

В первую голову принялось за дело исследования городов общество архитекторов-художников, которое собирается в Академии Художеств в Петербурге. И это, правильно.

Вот почему. Во-первых, исследование городов должно быть ближе всего зодчим. Они творцы лица государства.

Зодчим поручается многое в укладе нашей жизни — велико должно быть к ним и доверие.

Именно зодчим должны быть ведомы условия нарастания городов. Они больше других должны чувствовать всю захороненную житейскую мудрость прежних устройств.

Строительная молодежь, которая собирается вокруг общества архитекторов-художников, будет крепнуть на таких исторических изысканиях, развивая свой вкус и опыт для нового творчества.

Во-вторых, общество архитекторов-художников молодо. Пока — вне всяких скучных запретительных традиций. Общество быстро развивается и не боится новых дел. В общество охотно идут, и таким путем складывается кадр многосторонний, пригодный для крупных начинаний.

Молодому обществу удалось уже многое спасти, многое выяснить. Зоркие молодые глаза усмотрели уже много вандализмов и громко указали на них.

Обществу покровительствует Великая Княгиня Мария Павловна, новый президент Академии Художеств. Великая Княгиня с большим рвением занялась новой работой. Она окажет самое горячее покровительство широкому общегосударственному делу, близкому каждому любителю искусства и старины.

Следует начать подписку. Помощь будет.

Уже в 1911 году к съезду работа может дать первые результаты.

В конце июля Комиссия Допетровского музея начнет раскопку южной стороны Детинца, где стояли княжьи терема, а также пять старых храмов. В то же время возможна раскопка и на старом городище, где долгое время жили княжьи семьи.

Люблю новгородский край. Люблю все в нем скрытое. Все, что покоится тут же, среди нас.

Для чего не надо ездить на далекие окраины: не нужно в дальних пустынях искать, когда бездны еще не открыты в срединной части нашей земли. По новгородскому краю все прошло.

Прошло все отважное, прошло все культурное, прошло все верящее в себя. Бездны

нераскрытые! Даже трудно избрать, с чего начать поиски.

Слишком много со всех сторон очевидного. Чему дать первенство? Упорядочению церквей, нахождению старых зданий, раскопкам в городе или под городом в самых древних местах?

Наиболее влекут воображение подлинный вид церквей и раскопка древнейших мест, где каждый удар лопаты может дать великолепное открытие.

На рюриковском городище, месте древнейшего поселения, где впоследствии всегда жили князья с семьями, все полно находок. На огородах из берегов беспрестанно выпадают разнообразные предметы, от новейших до вещей каменного века включительно.

Чувствуется, как после обширного поселения каменного века на низменных Коломцах при впадении Волхова в Ильмень, жизнь разрасталась по более высоким буграм через Городище, Нередицу, Лядку — до Новгорода.

На Городище, может быть, найдутся остатки княжьих теремов и основания церквей, из которых лишь сохранилась одна церковь, построенная Мстиславом Владимировичем.

Какие поучительные таблицы наслоений жизни может дать исследование такого старинного места. Обидно, когда такие находки разбегаются по случайным рукам.

Кроме Городища целый ряд пригородных урочищ спорит о древности своего происхождения.

Коломны (откуда Передольский добыл много вещей каменного века), Лядка, Липна, Нередица, Сельцо, Раком (бывший дворец Ярослава), Мигра, Зверинцы, Вяжищи, Радятин, Холопий городок, Соколя Гора, Волотово, Лисичья Гора, Ковалево и многие другие урочища и погосты ждут своего исследователя.

Но не только летописные и легендарные урочища полны находок.

Прежде всего, повторяю, сам город полон ими. Если мы не знаем, чем были заняты пустынные бугры, по которым, несомненно, прежде тянулось жильё, то в пределах существующего города известны многие места, которые могли оставить о себе память.

Ярославле Дворище (1030 г.), Пятрятино Дворище, Двор Немецкий, Двор Плесковский, два Готских Двора, Княжий Двор, Гридница Питейная, Клеймяные Сени, Дворы Посадника и Тысяцкого, Великий Ряд, Судебная Палата, Иноверческие ропаты (часовни), Владычни и Княжьи житницы, наконец, дворы больших бояр и служилых людей — все эти места, указанные летописцами, не могли исчезнуть совсем бесследно.

На этих же местах внизу лежит и целый быт долетописного времени.

Все это не исследовано.

Дико сказать, но даже Детинец новгородский и тот неисследован, кроме случайных хозяйственных раскопок.

Между тем Детинец весьма замечателен. Настоящий его вид не многого стоит. Слишком все перестроено.

Но следует помнить, что место Детинца очень древнее, и площадь его, где в вечном поединке стояли Княж-Двор, и с Владычной стороны св. София видела слишком многое.

Уже в 1044 году мы имеем летописные сведения о каменном Детинце. Юго-западная часть выстроена князем Ярославом, а северо-восточная — его сыном св. Владимиром Ярославичем. Хорошие, культурные князья! От них не могло не остаться каких-либо прекрасных находок.

Словом, огромный новгородский курган не раскопан. Можете начать его, откуда хотите, откуда удобнее, откуда более по средствам и силам.

Хотите ли заняться восстановлением церквей? У вас тоже есть всюду работа, так как в каждой старой церкви что-нибудь нужно во имя искусства исправить.

Возьмем, что легко вспомнить.

Красивая церковь Петра и Павла на Софийской стороне испорчена отвратительной

деревянной пристройкой. Уровень храма был на целый этаж ниже. На стенах, несомненно, были фрески.

В церкви Федора Стратилата у Ручья замазаны фрески. Их следует открыть.

В Николо-Дворищенском соборе на стенах совершенно непристойная живопись. Были фрески: вероятно, что-нибудь от них сохранилось.

У Федора Стратилата на Софийской стороне замазаны цветные изразцы.

В Благовещенской церкви на Рюриковом Городище фрески далеко не исследованы.

Также не исследованы вполне стенописи в Волотове и Ковалеве. В Ковалеве ясно видны три слоя живописи. Из них нижний слой, конечно, наиболее интересен.

Можно привести длинный список всего, что нужно исправить в церковной старине Новгорода.

Длинен мог бы быть и список непоправимого.

Умерло многое уже на наших глазах.

Под непристойной работой Сафоновской артели погиб Софийский храм. Приезжие иностранцы недоумевают о такой невообразимой для первоклассного собора росписи. Чуждыми и странными кажутся случайно сохранившиеся еще иконостасы и отдельные иконы.

Без горести нельзя вспомнить о погибшей внешности Нередицкого Спаса.

Сиротливо стоит Новгородская глава на новых византийских плечах. Нелепы византийские формы при глубоко ушедших в землю фундаментах. Нестерпимо сухи вновь пройденные карнизы и углы.

Смотрю на Спаса и еще раз мысленно говорю Покрышкину, что он сделал со Спасом прескверное дело. Поступил не по-христиански.

На собрании общества архитекторов-художников после моего доклада о Спасе Покрышкин только сказал: "дело вкуса".

Он прав. Ничего другого ему сказать не оставалось. И на это сказать тоже нечего. Странный бедный вкус!

В середине Спаса теперь часто копошатся художники.

Зарисовывают.

Вспоминаю, что во время моих первых поездок по старой Руси не встречалось так много работающих над стариной.

Значит, интерес растет. Наконец-то!

Случайная встреча еще раз подсказывает, что в Новгороде искать надо.

Ехали мы на Коломец к Ильменю.

От Юрьевского скита закрепчал "боковик". Зачехала вода по бортам. Перекинуло волну. Залило.

Затрепетала городская лодка. Подозвали мы тяжелую рыбацью ладью, в ней пошли на Коломец.

Старик рыбак держал рулевое весло. За парусом сидела дочка. На медном лице сияли белые зубы.

Спросили ее:

— Сколько лет тебе?

— А почему знаю.

— Да неужели не знаешь. Ну-ко, вспомни. Подумай!

— Не знаю, да, верно, уже больше двадцати. И сидели рыбаки, крепкие. Такие помирают, но не болят.

На Коломце скоро заторопил старик обратно:

— А то, слышь, уеду! Лодки-то сильно бьет!

Заспешили. Забрались на рыбачью корму, но городская лодка с копальщиками не сходила с берега.

Трое гребцов не могли тронуть се.

— Али помочь вам? Садитесь вы все! — пошла по глубокой воде дюжая новгородка.

Взялась за лодку и со всеми гребцами легко проводила в глубину. С воды прямо взобралась на корму.

Суцая Марфа Посадница.

А рядом, на высокой корме, сидел ее старик. Суховатый орлиный нос. Острые запавшие глаза. Тонкие губы. Борода — на два больших кудряша. И смотрел на волны зорко. Одолеть и казнить их собрался.

Суций Иван Грозный.

Марфа Посадница, Иван Грозный! Все перепуталось, и стала встреча с диковатыми рыбаками почему-то нужной среди впечатлений.

Такой народ еще живет по озерам. Редко бывает в городе. Так же, как земля, умеет он хранить слова о старине. Так же, как в земле, трудно узнать, откуда и с чего начать с этим народом.

Везде нетронуто. Всюду заманчивые пути творчества. Всегда богатые находки.

Придут потом другие. Найдут новые пути. Лучшие приближения. Но никто не скажет, что искали мы на пустых местах. Стоит работать.

Пусть наш Север кажется беднее других земель. Пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нем знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зеленые холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны. Сами варяги шли с Севера. Все ищем красивую древнюю Русь.

Много лет пришлось помечтать и поговорить о раскопках в Киеве и Новгороде. Немногим любящим старину пришлось стыдиться, сердиться. Лишний раз пришлось подивиться на наших скептиков. А скептиков у нас много, особенно в искусстве и в науке. Личина глубокого скепсиса во многих житейских делах очень пригодна.

Но вот вместо холодных убивающих голосов послышались голоса живые, любящие дело. С высоким вниманием отнеслась к исследованию Новгорода Великая Княгиня Мария Павловна. Откликнулась кн. М. К. Тенишева и для начала дела прислала тысячу рублей. Гр. П. С. Уварова в личной со мной беседе высказалась сочувственно за исследование Кремля. Энергично помог председатель общества архитекторов-художников гр. П. Ю. Сюзор. Поддержали: кн. М. С. Путятин, А. В. Щусев, В. А. Покровский и прочие члены комиссии Допетровского музея.

И вот юный Допетровский музей мог на своем щите прежде всего вписать:

— "Раскопка в новгородском Кремле".

Сложилось начало большого дела, в нем будет место многим работникам и многим рублям, многим препятствиям и многим победам.

К нашему делу присоединилось и военно-историческое общество и уделило пятьсот рублей на обмеры башен и стен южной части Детинца. Особенно постарался за Новгород секретарь отдела военной археологии Н. М. Печенкин.

Было решено приступить к Новгороду немедленно. Начать исследование Кремля, и для сравнения культурных слоев произвести разведки на Рюриковом Городище.

Для начала не обошлось без помех. Не подождав нашу раскопку, новгородская городская управа наковыряла ям на месте, ею же отведенном для исследования. Архивная комиссия и губернатор знали об этом, но почему-то спешно не воспрепятствовали, как следовало бы. Приезжал член археологической комиссии Б. Фармаковский, возмутился действиями управы и архивной комиссии и доложил в Петербург. Археологическая комиссия потребовала предать суду нежданных копателей. Новгородское общество любителей древности не нашлось немедленно протестовать против действий управы. Вообще, любезностью и торопачностью новгородцы не отличались. Произошла путаница.

Только стараниями разных ученых обществ нелепое постановление Думы было отменено.

Пока шла неразбериха с ямами, накопанными управой, мы с Н. Е. Макаренком, секретарем Допетровского музея, поехали для разведок на Рюриково Городище. Остановились в церковном училище наискось от жирных стен Юрьева монастыря. Где-то в этих местах Аристотель Фиораванти навел через Волхов мост для Ивана Грозного, стоявшего на Городище.

Кроме исконного поселения, на Городище долгое время жили новгородские князья со своими семьями. Московские князья и цари часто тоже стояли на Городище, хотя иногда разбивали ставки и на Шаровище, где теперь Сельцо, что подле Нередицы. Княжеские терема оставались на Городище долго. Вероятно, дворец на Городище, подаренный Петром I Меньшикову, и был одним из старых великокняжеских теремов.

Богатое место Городище! Кругом синие, заманчивые дали. Темнеет Ильмень. За Волховом — Юрьев и бывший Аркажский монастырь. Правее сверкает глава Софии и коричневой лентой



изогнулся Кремль. На Торговой стороне белеют все храмы, что "кустом стоят". Виднеются — Лядка, Волоотово, Кириллов монастырь, Нередица, Сельцо, Сквородский монастырь. Никола на Липне, за лесом синееет Бронница. Все, как на блюдечке за золотым яблочком.

Озираемся с бугра, на котором стоит высокий крест. Зовется место: "Никола". Среди храмов Городища упоминается Никольская церковь, сгоревшая в 1201 г. "от грома".

Исследуем бугор и действительно находим основание небольшой деревянной сгоревшей церкви, но существовала она, видимо, и в XVIII веке. Вещи сплавилась. Осталась белая смазка пола, как в Нередице, и гончарные плиточки довольно тонкого обжига.

Из пяти церквей, известных на Городище по летописям, теперь сохранилась лишь одна Благовещенская, построенная в 1099 году Мстиславом Великим, сыном Мономаха. В этом храме находилось знаменитое Мстиславово Евангелие. От прочих храмов, от всех теремов ничего не осталось. Даже и развалин не видно. Только в крутых обрывах по Волхову пестреют известь и кирпичи. Явно, что какие-то строения смыты бешеной во время ледохода рекой. Предположения оправдываются. В ризнице церкви находим план Городища 1780 года. На плане видно, что за столетие с небольшим Волхов, изменяя свое течение, оторвал около 12-ти сажений высокого берега. Насколько же раньше выступало вперед Городище! В Волхове покоятся и терема и часть храмов. Словом, вся лучшая часть поселения; все, что стояло на видных передовых местах. Теперь понятно, почему главную массу старинных предметов находят не на берегу, а весной внизу, подле самой воды. Из-под берегов к нам несут местные находки: браслеты, обломки вислых печатей, бусы, черепки и металлические поделки. Нам ясна толщина жилого слоя и гибель лучшей части Городища, пора спешить в Кремль.

Кремль много раз перестраивался. Начат каменный Кремль при Ярославе. Сильно перестроен и достроен при Андрее (сыне Александра Невского) и при Иване III. Возобновлены были стены при Петре I и при Александре I, и, наконец, часть рухнувшей стены была спешно вновь сложена накануне освящения памятника Тысячелетия. Еще не так давно в башнях были жилые помещения, но теперь почти все башни необитаемы. В высоком Кукуе выломаны лестницы. Княжая Башня держится только на "честном слове". В Архивной башне весь архив завален пометом. Вообще, Кремль новгородцам, видимо, представляется отхожим местом. Все башни грозят падением. Нужны многие тысячи, чтобы не заткнуть, а только починить их. И здесь наши отцы, полные отрицания старины, оставили нам плохое наследие.

Вся южная часть Детинца теперь занята огородами. Прежде здесь стояли многие строения и до 20-ти церквей. Здесь же проходило несколько улиц и главная улица Кремля Пискупля. Где-то возле Пискупли стоял храм св. Бориса и Глеба, поставленный на месте древней, сгоревшей Софии. На этих же огородах были все княжие постройки и самые терема. Как известно, Княжая Башня вела на Княжий Двор.

Трудно все это представить, глядя на пустырь. Но верится старинным изображениям Кремля, не верится рисункам иноземных гостей. На планах сравнительно недавних (XVIII в.) еще значатся на месте огорода какие-то квадраты зданий. Куда это все девалось?

Каким образом прочные старинные стены, трубы, фундаменты изгладились совершенно? Когда каменные кладки превратились в гладкий огород? Неразрешимые вопросы.

Стоим на пустыре среди мирной капусты. Мечтаем о белом виде Детинца. Всячески комбинируются исторические справки. Говорится много предположений. Ясно, что на первую тысячу мы не можем вскрыть многое. Хочется захватить поудобнее, повернее. Наконец, избирается место для длинной траншеи в местности Кукуя и Княжей Башни. По догадкам, здесь мы должны затронуть какие-либо постройки Княжего Двора. Конечно, еще лучше было бы место под домами причта, но оно было застроено без всяких исследований. Место с ямами, накопанными управой, конечно, решено не трогать.

Начинаем копать. Чувствуется какая-то неуверенность и даже боязнь. Пугает сведение Передольского, что жилой слой Новгорода идет до 21 аршина. Вспоминаются петербургские пророчества о том, что все слои земли давно перемешаны, перерыты.

Ниже наносного огородного слоя очень близко от поверхности земли уже показываются обломки всяких строительных материалов. Куски кирпича, цветные изразцы, части слюды, гвозди и скобы. Самого здания нет. Чуется его близость. Опять подозреваем сады и дома причта. Этот каменного строения мусор оттуда. Черепки из верхних слоев относятся к недавнему времени и до XVI в. Видно, что слои не тронуты. Любопытная картина начинается ниже второго аршина. Вылезают деревянные срубы, Основы каких-то многочисленных, густо стоявших построек. Поперек траншеи направлением на Кукуй обнаруживается длинный помост из тесаных плах. Может быть, деревянное покрытие улицы. Конечно, окончания его неизвестны. Срубы прямо нагромодились один на другой. Между ними какие-то перемычки из вбитых стоймя бревен. Продолжения строений заманчиво далеко идут за стенки траншеи. Нам нужно дойти до материка, развлекаться случайной стенкой нельзя. Вещи становятся интереснее. Гребни, ложки, кадушки, кресала, ножи, горшечки. Уже начался старый деревянный Новгород. Очевидно, мы угадали место и находимся где-то на Княжем Дворе. Не успевает один слой строений быть сфотографированным, обмеренным и снятым, как за ним сейчас же вылезает другой. Многие строения, видимо, уничтожены пожаром.

Траншея приобретает фантастический вид. Оба бока наполнены уходящими в стенки земли бревнами. Тесаными и круглыми. Где высунулся помост. Где какой-то глубокий срубик в аршина полтора размером. Где наискось торчит угол, срубленный в лапу.

Главная предчувствованная нами задача разрешена. Жилые слои Кремля, оказались не перекопанными. Картина древнего Новгорода не тронута. В пустующей южной части Кремля при достаточных средствах можно раскрыть все распределение зданий и улиц. Конечно, для этого нужны крупные деньги. Тысяч десять. Но зато какая большая задача будет разрешена. Настоящая национальная задача. Вряд ли можно достать казенные суммы.

Это дело частных, богатых, культурных людей. Думаю, что еще, не обращаясь к Пирпонту Моргану, можно дожидаться средств на исследование древнейшего пункта Русского Государства. Ведь есть же благодетели на храмы, больницы, школы. Наша археологическая задача тоже не есть прихоть, не есть роскошь. Познание самого себя первая задача. На ней стоит все будущее. Рискую еще раз показаться смешным. Во имя искусства и прекрасной древности это не страшно. Буду ждать, что на имя Допетровского музея в Академию наук поступят какие-то средства. Раньше я думал начать с подписки. Но во всякой подписке есть какое-то принуждение. Сперва надо испытать, любят ли у нас свое свободно, без указания. Даже курьезно, неужели никто, подобно кн. Тенишевой, не захочет вписать в свою деятельность: "содействие исследованию древнего Новгорода". Неужели ни в ком из промышленного мира уже не живы, забыты заветы великой взаимопомогающей Ганзы.

Осторожно двигаемся глубже. Рабочим неудобно выбирать землю среди нагромождений дерева.

Никому не известно, каким образом громоздились срубы друг на друга в разных направлениях, нарастая в слой 3—4 аршина. Можно думать по черепкам, что мы находимся в XIII в. Может быть, даже и раньше, так как А. А. Спицын не раз отодвигал датировку гончарных форм и орнаментов. Горшки такие же, как на Днепре под Смоленском, в славном варяжском гнезде в Гнездове.

Уже кончаем пятый аршин. О материке нет и помина. Рабочим уже тесновато работать. "А если здесь слой аршин на десять? Что же тогда будем делать?" — недоумевает Макаренко.

В этом вопросе первая мысль о деньгах. Хватит ли довести до материка. Иначе никакой картины кремлевских напластований не получится и вся наша работа будет почти ни к чему. Но пока работа кипит.

Вторую траншею закладываем у Княжей Башни, которая стояла у Княжего Двора и где заметны какие-то впадины и бугорки. Очевидные следы строений. Созаем, что очень глубоко рыть нельзя из-за близости разрушающейся башни. Если башня рухнет вовсе и не по нашей вине, какой вой подымут разные человекоподобные? Но нужно знать, что заключают в себе видимые бугры.

Не глубже как на пол-аршина натыкаемся на каменную кладку. Освобождаются три стены небольшого квадратного помещения, имевшего кирпичный пол, сложенный в клетку. Вероятно, строение примыкало к башне. Около стен обычные находки: изразцы, слюда. Кроме того, осколки ядер и частицы панциря. Кирпичный пол имеет заметные склоны к бокам. Уж не свод ли? Пробуем, под кирпичом идет насыпной чистый песок, а еще на 8 вершков начинается знакомый черный нажитой слой. По бокам открытого строения заметны следы каких-то деревянных оснований. Сразу намечается сыпь развалин, которая скрыта под всем огородом. Весь Кремль — нераскопанный курган.

На веселом июльском припеке наблюдаю приятную картину. Рядом помещается неутомимый Н. Е. Макаренко, кругом него мелькают разноцветные рукава копальщиков. Растут груды земли, черной, впитавшей многие жизни. У Княжей Башни орудуют наши рьяные добровольцы: искренний любитель старины инженер И. Б. Михаловский и В. Н. Мешков. На стене поместился со своими обмерами мой брат Борис. Из оконцев Кукуя выглядывают обмерщики Шиловский и Коган. Взвод арестантов косит бурьян около стены. Из новгородцев интерес проявляют Романцев, Матвеевский, о. Конкордин. Хоть посмотреть приходят.

Кроме того, мы знаем, что у Федора Стратилата на Торговой Стороне очищают фрески (и пока хорошо очищают). На Волотове Мясоедов, Мацулевич и Ершов изучают и восстанавливают стенопись.

Кажется, что Новгород зашевелился; кто-то его пытается пробудить.

Но радость недолгая, по крайней мере, для нашей партии. Деньги уплывают. На новгородцев надежды нет. Скоро придется отложить работу до новых средств.

О новой траншее уже и не думаем, хотя места для нее так и напрашиваются. Всеми участниками овладела одна мысль: хоть бы до материка дойти. Напряженно следим за каждым новым ударом лопаты.

Уже спустились на шестой аршин. "Срубы не прекращаются. Вещи идут уже из XII—XI веков.

Из боков траншеи уже просачивается вода. Каждое утро приходится ее откачивать ведрами. В сырой земле трудно и неприятно работать. Поэтому появление материка приветствуется одинаково и нами, и рабочими.

Материк показался на глубине 6 аршин 5 вершков. Подчищаем яму и подводим итоги.

Ожидание нас не обмануло. Если год тому назад я писал только по догадке, что Великий Новгород лежит под землей, нетронутым, то теперь могу это повторить уже на деле.

В Кремле культурный слой невредим и ждет исследователей. В толщине от 4-х до 7-ми аршин. Кремль насыщен всякими строениями разных веков.

Надо уезжать. Открытую траншею пробуем передать в ведение предварительного комитета будущего археологического съезда, но председатель комитета, местный губернатор, оказался не в силах охранить нашу раскопку до съезда. Придется тратить последние деньги еще на засыпку, а съезду нельзя будет представить картину напластований Кремля. Жаль.

На прощанье еще раз осматриваем несколько пригородных древних мест — Волотово,

Ковалево, Холопий Городок, Лисичью Гору, Вяжицкий монастырь. На всех местах могут быть интересные исследования. В Ковалево и на Лисичьей Горе еще вполне видны внушительные монастырские очертания. Но для этих работ нужны большие деньги. Так же как и на поддержание Вяжицкого монастыря.

О Вяжицком монастыре мало знают. Благодаря отвратительной дороге, мало кто его посещает. Но сам монастырь достоин большого внимания.

Не сусальный великан, как Юрьев монастырь. Не пограничный терпелец, как Псково-Печерский. Не суровый печальник, как Валдайско-Иверский. Вяжицкий монастырь особенный. Одинокая дорога по непроездным вяжищам упирается в монастырь. Около, на поляне, деревушка. Кругом леса и болота. Дальше и дороги нет.

В марте будущего года монастырь будет праздновать свое пятисотлетие. Жаль, если ему придется справлять праздник в таком же запущенном виде, как сейчас. Вновь назначенный архимандрит о. Вячеслав с первого дня приезда начал подчищать "нажитые слои". Но денег мало, и задача о. Вячеслава трудна.

Хотя отдельные помещения монастыря еще относятся к XVI веку, но общий вид его надо считать Никоновским. При Никоне монастырь обстроился, насчитывал несколько сот монахов, а главное — изукрасился отличными изразцами. Теперь грустно видеть, как обширное хозяйство монастырское обеднело, здания дают трещины, украшения падают. Надо думать, что о. Вячеславу удастся найти средства поддержать обитель.

Не в далеких пустынях, не за высокими горами все, все полно находок, все ждет работников, все нуждается в помощи, а здесь, между нами, в трех, четырех часах езды из средоточия страны. Да и обеднел-то не какой-нибудь проходимец, а сам Господин Великий Новгород.

Теперь о старине принято говорить. К старине потянулись. За два последних года в одном Петербурге создано три общества любителей старины. Музей старого Петербурга. Допетровский музей искусства и быта. Общество охранения памятников старины, поставившее себе первую отличную задачу — хорошо восстановить и поддержать историческое село Грузино.

Сейчас о старине столько пишут, что нам, поднимавшим это движение, даже страшно становится.

Уж не мода ли это? Просто случайная, скоро проходящая мода? Или это следствие культурности?

Только будущее даст верный приговор. Только оно укажет, кто из каких целей занимался стариной.

Одно — пустой, ненужный разговор. Совершенно другое — дело, требующее знаний, труда, затрат и любви.

Пока будем надеяться, что к старине общество пошло путем искренности и восхищения, живым путем изучения старины для ступеней будущего творчества.

Научаемся верить, что:

— "Не знающий прошлого не может думать о будущем".

Еще один иноземец уверовал в наши старые, чудесные, красивые иконы. Ришпэнь смотрел в Москве выставку, устроенную Московским археологическим институтом, и пришел в восторг от красоты наших священных изображений. Вспомним, что Морис Дени и Матис, когда были в Москве, а Бланш, Симон и целая толпа лучших французов, когда видели наше искусство в Париже, воздали заслуженное нашим иконам и нашему старому искусству.

Называю иноземцев, ибо нам, своим, не верили, когда мы, в восторге, говорили то же самое. Даже всего десять лет назад, когда я без конца твердил о красоте, о значительности наших старых икон, многие, даже культурные люди еще не понимали меня и смотрели на мои слова как на археологическую причуду.

Но теперь мне пришлось торжествовать. Лучшие иноземцы, лучшие наши новаторы в иконы уверовали. Начали иконы собирать не только как документы религиозные и научные, но именно как подлинную красоту, нашу гордость, равноценную в народном значении итальянским примитивам.

Слава Богу, слепота прошла: иконы собирают; из-под грязи возжигают чудные, светоносные краски; иконы издают тщательно, роскошными изданиями; музеи гордятся иконными отделами; перед иконами часами сидят в восхищении, изучают, записывают; иконами гордятся. Давно пора!

Наконец мы прозрели; из наших подспудных кладов добыли еще чудное сокровище. Это сознание настолько приятно, что можно даже простить тот снобизм, который сейчас возникает около "модного" иконного почитания. Снобы — этот маленький ужас наших дней — пройдут и займутся новым "сегодняшним" днем, а правдивый "завтрашний" день сохранит навсегда великое сознание о прекрасном русском народном творчестве, выявившемся в старых иконах.

Кроме пополненных музеев, у нас разрослись богатые собрания Лихачева, кн. Тенишевой, Ст. Рябушинского, Остроухова, Харитоненко... Все это — крепкие, любовные руки, и попавшее к ним будет свято и укрепится в твердом месте. Гр. Д. Толстой и Нерадовский тоже стараются для Русского музея, и при них иконный отдел становится на должную высоту. Давно пора!

Хорошо сделал и Московский археологический институт, что вовремя сумел устроить хотя и небольшую числом, но великую значением выставку.

Радуюсь, что Москва оценила выставку, посещает, любит ее. Значение для Руси иконного дела поистине велико. Познание икон будет верным талисманом в пути к прочим нашим древним сокровищам и красотам, так близким исканиям будущей жизни.



Если суждено искусству вступить в новую фазу приближения к мирскому и обновить "линию" жизни, — какие пересмотры предстоят! — поразительно!

Сколько признанного, сколько излюбленного придется отодвинуть, чтобы строить Пантеон красоты многих веков и народов.

Спрячутся некоторые любимцы и выступят другие, и с большим правом.

В новых дворцах света, тона и линии забудем темные пространства музеев. Не холодной системой, — свободным, творческим течением мысли будем отдыхать в них. Будем находить подходы к искусству иные, чем к положительному знанию, без всякого приближения к этой противоположной области.

Велики примеры Востока; трогательны прозрения примитивов; поразительны светлые дерзновения импрессионистов. Длинная нить — далекая от фальшивого, близорукого "реализма", чуждая всякой пошлой мысли. Этими путями идем вперед; обновляемся к чутью краски-тона; очищаем наше понимание слова "живопись".

Бесчисленны пути Красоты. Ясные, прямые пути убедительны впечатлением. Малейшее чуждое, привходящее, разрушает смысл и чистоту вещи. Маски в искусстве противны. Противна маска живописи на рисунке. Бессмысленна фреска без красок, лишенная творческой гармонии тона. Нужна открытая, громкая песнь о любимом; нужны ясные слова о том, что хочешь сказать, хотя бы и одиноко.

И каждый должен искать в себе, чем повинен он перед искусством; чем, не мудро, заслонял он дорогу свою к блестящему "как сделать". Иногда еще можно отбросить ненужное; иногда есть еще время ускорить шаг. Сознание ошибок не страшно.

Прекрасны для нас сокровища тех, что прошли прямой дорогой искусства. Смотрим на них с бережливостью; без страха отодвигаем повинных в уклонении. Это — жизнь.

О Беклине написан длинный ряд отличных статей. Знаем его место среди больших мастеров, завоеванное трудом и силой среди насмешек и брани. Каждая его картина подробно объяснена. Большая сила! Но почему сначала он был так неугоден толпе? Чем он провинился? Неужели теми немногими холстами, где есть пятна настоящего тона? Но таких вещей не очень много; в массе работ он должен бы быть другом толпы... Недоразумение! Он говорил им любезное, часто даже приятное их духу и уровню, а они из-за немногих мазков не рассмотрели его, не признали многих приятельских жестов. Вольно или невольно он принес им большую часть своего дарования. Много, может быть, себе дорогое отдал неблагодарному народу, а его все-таки гнали. И даже хвала толпы под конец жизни не всегда могла заглушить отзвуки прежних речей.

И тут же почти в то же время говорил другой, широко обращался кругом, но в словах его было гораздо меньше угодливости так называемым лучшим чувствам толпы, и его просто не слушали. Его считали ненужным и неопасным и даже гнать не хотели. Даже не столько сердились, сколько пожимали плечами и качали головами.

Марес проходил незамеченным. Смешно и жалко подумать: всего несколько отдельных людей проникли и поняли Мареса! Всего несколько людей во всю жизнь!

Он говорил только во имя Искусства, и толпа была чужда ему; чуждый ей, он грезил украсить залы выставки для каких-то неведомых людей. Но случайно проходящим мимо искусства что были его красочные откровения? Его истинные украшения зданий жизни?

Толпа не шла к его холстам; его стенописи, которые должны бы вести толпу, подымать ее в минутах отрешения от окружающего, оставались для нее далекими, холодными, бездушными. А

ведь живопись Мареса была вовсе не бесформенна, — наоборот, он глубоко понимал форму и гармонию ее с живописью. Это не были только красочные симфонии, — у Мареса все картины полны глубокой художественной мысли. Но его рассказ был тончайшим видением поэта, мыслью художника, без всякой примеси, без вульгарности, под покровом только настоящей живописи.

Мыслить только художественно — обыкновенно уже преступление; облечь полотно в чудесные ризы — для толпы уже недоступно. Какую же ценность на проходящем рынке могли иметь мечты Мареса о Гесперидах, о волшебных садах с чудным тоном листвы? Чистые мысли Мареса о прекрасных телах в их эпической простоте движения, насыщенных переливами красок? Рассказы о вечном, достойные лучших стен!

Видения, святые, всадники, рыцари, чудовища... Те же стремления, как у Беклина, и другая, совершенно другая дорога.

Сравнения мало к чему служат, а в искусстве особенно. Но бывают поразительные сопоставления, которые бьют по глазу, кричат в ухо о случившемся.

Марес и Беклин теперь встретились на Столетней выставке в Берлине; встретились многими холстами. Кто-то поставил их рядом. Кто-то захотел, чтобы о Маресе и Беклине задумались решительно. Для памяти Мареса эта выставка — сущий праздник; жаль, что нельзя было собрать и еще его вещей.

Но что случилось со всем, что так хорошо выходит в воспроизведении из картин Беклина, что случилось со всем этим от соседства Мареса? Все, о чем многие думали и о чем уже хотели говорить, сразу стало ясным. Труднее судить рисунки; можно всегда спорить о построении, но тон всегда говорит за себя, и только отсутствие противопоставления иногда временно спасает его достоинство. Тон, конечно, первое качество живописи, наиболее абсолютен, и в нем главное требование к живописцу. Мысль только отчасти заслонит глаз рефлексам в другие центры; построение и рисунок стоят отдельно, и без живописи картина — ободранный скелет, желтый, обтянутый и страшный в темном углу музея. Золото лаков дружественно этим подкрашенным рисункам; фотография передает их отлично, тон ей не мешает.

Кто был на Берлинской выставке, тот видел праздник Мареса и рядом холодность картин Беклина. Что-то тайное стало явным и непоправимым. Какой-то новый зубец колеса повернулся.



Ярко горит личность Врубеля. Около нее много солнечного света. Много того, что нужно. Хочется записать о Врубеле.

Повидаться с ним не приходится. Стоит мне приехать в Москву, оказывается, он уже в Петербурге. Если прихожу на выставку, где он должен быть непременно, мне говорят: "только сейчас ушел". И так несколько, лет. Пока не знаю его, надо о нем записать. После знакомства впечатление всегда меняется. Сама внешность, лицо и то уже все изменяют; а слово, а мысль? И сколько раз горестно вспоминалось, к чему знать автора? Какой осадок на песне произведений часто остается от слова самого художника.

С Врубелем перемены к худшему не будет при знакомстве. Могут прибавиться личные черточки, собственные мысли Врубеля о своих задачах. Говорят, он человек редкой чуткости и обаяния. Все, что около него, тоже чуткое и хорошее. Хорошо, что так говорят; достойно, что так и есть. Это так редко теперь. Часто около новых творений стоят люди старые ликами и внутри некрасивые.

Около Врубеля ничто не должно быть некрасивым.

Светит свет и в нем, и на всем, что движется близко. Страшен нам священнейший культ мудрецов великой середины. Каким невыносимым должен быть среди него Врубель, середины не знавший. В холодном хоре убивающих искусство как страшно звучит голос Врубеля и как мало голосов за ним. Высокая радость есть у Врубеля; радость, близкая лишь сильнейшим; середина никогда не примирится с его вещами. Приятно видеть, как негодует мудрец середины перед вещами Врубеля. Не глядя почти на картину, спешит он найти хулу на искусство. Но крик его, правда, без разума; и в самом среднем сердце не может не быть искры, вспыхивающей перед красотой. Какую же хулу, грубую и бессмысленную, нужно произнести, чтобы скорей потушить светящую искру. Середина долго дрожит, долго колеблется после картин Врубеля. Не скоро мудрец середины остановится без хорошего и злого, без ангела и без дьявола, — ненужный, как ненужно и все строение его.

Какой напор нашей волны безразличия должен выносить Врубель? Ведь сейчас мы даже будто перестали уже негодовать на всякий непосредственный подход к подлинной красоте; ожесточение будет сменяться самодовольной усмешкой и неумными воображениями победы. Что делать и зачем делать таким, как Врубель, среди толпы, среди всей тяготы, запрудившей наше искусство?

Судьба Врубеля — высокая судьба проникновенных в старой Италии или судьба Мареса, бережно сохраненного на радость будущего, на радость искусства в укромном Шлейсгейме.

У нас так мало художников со свободной душой, полной своих песен. Надо же дать Врубелю сделать что-либо цельное; такую храмину, где бы он был единым создателем. Увидим, как чудесно это будет. Больно видеть все прекрасное, сделанное Врубелем в Киеве, больно подумать, что Сведомский и Котарбинский и те имели шире место для размаха. Неужели, чтобы получить доступ сказать широкое слово, художнику прежде всего нужна старость?

Мы стараемся возможно грубее обойтись со всеми, кто мог бы двинуться вперед. И на одну поднятую голову опускается тысяча тяжелых рук, ранее как будто дружелюбных.

Прочь все опасные торчки.

Только Третьяков первое время поддержал Сурикова. Мало поняли Левитана. Мы загнали Малявина в тишину деревни. Мы стараемся по мере сил опорочить все лучшее, сделанное Головиным и Коровиным. Мы даже не можем понять Трубецкого. Выгнали Рушцица и Пурвита на иностранные выставки. Ужасно и бесконечно! Указания Запада нам нипочем. Врубелю мы не

даем размахнуться. Музей Академии не знает его. Появление его маленького отличного демона в Третьяковской галерее волнует и сердит нас. Полная история русского искусства должна отразиться в Русском музее, но Врубеля музей все-таки видеть не хочет. Только заботами кн. Тенишевой, украсившей свой отдел музея "Царевной-Лебедью", музей не остался вовсе чужд Врубеля. Странно. Мы во многом трусливы, но в искусстве особенно храбры маститые трусы; даже будущего не страшатся. Поражает наша неслыханная дерзость, не знающая даже суда истории.

Отпусти нам, Владыко! Бедные мы!

Легко запоминаются многие хорошие картины. Многое отзывается определенно сознательно. Наглядевшись вдоволь, через время опять хочется вернуться к хорошему знакомому и долго покойно сидеть с ним, и не страшит промежуток разлуки.

Но иначе бывает перед вещами Врубеля. Уходя от них, всегда хочется вернуться. Чувствуется всем существом, сколько еще недосмотрено, сколько нового еще можно найти. Хочется жить с ними. Хочется видеть их и утром, и вечером, и в разных освещениях. И все будет новое. Сами прелести случайностей жизни бездонно напитали вещи Врубеля, прелести случайные, великие лишь смыслом красоты. Какая-то необъятная сказка есть в них; и в "Царевне-Лебеди", и в "Восточной Сказке", полной искр, ковров и огня, и в "Пане", с этими поразительными глазами, и в "демонах", и во всей массе удивительно неожиданных мотивов.

Таинственный голубой цветок живет в этом чистом торжестве искусства. И достойно можем завидовать Врубелю. В такой зависти тоже не будет ничего нечестного. Так думаю.

Врубель выставил "Жемчужину". Останется она у Щербатова; ему нужны такие вещи в основу галереи.

Этим временем мы бывали на выставках; слушали лекции; не упустили спектакли; набирались всяких мнений. Мы были в "курсе" дела, в ходе жизни и жемчужины не сделали.

Врубель мало выезжал теперь; мало видел кого; отвернулся от обихода и увидел красоту жизни; возлюбил ее и дал "Жемчужину", ценнейшую. Незначительный другим обломок природы рассказывает ему чудесную сказку красок и линий, за пределами "что" и "как".

Не пропустим, как делал Врубель "Жемчужину". Ведь это именно так, как нужно; так, как мало кто теперь делает.

Среди быстрых примеров нашего безверия и веры, среди кратчайших симпатий и отречений, среди поражающего колебания, среди позорного снобизма на спокойной улице за скромным столом, недели и месяцы облюбовывает Врубель жемчужную ракушку. В этой работе ищет он природу. Природу, далекую от жизни людей, где и сами людские фигуры тоже делаются волшебными и не близкими нам. Нет теплоты близости в дальнем сиянии, но много заманчивости, много новых путей того, что тоже нам нужно. Этой заманчивости полна и "Жемчужина". Более чем когда-либо в ней подошел Врубель к природе в тончайшей передаче ее и все-таки не удалился от своего обычного волшебства. Третий раз повторяю это слово, в нем какая-то характерность для Врубеля, в нем есть разгадка того странного, чем вещи Врубеля со временем нравятся все сильнее. В эпическом покое уютной работы, в восхищении перед натурой слышно слово Врубеля: "довольно манерного, довольно поверхностной краски. Пора же глубже зарыться в интимнейшую песню тонов". Пора же делать все, что хочется, вне оков наших сводных учений.

"Если хотя одну часть вещи сделать с натуры, это должно освежить всю работу, поднять ее уровень, приблизить к гармонии природы". В таком слове звучит коренное умение пользоваться природой. Врубель красиво говорит о природе; полутон березовой рощи с рефлексам белых стволов; тень кружев и шелка женских уборов; фейерверк бабочек; мерцанье аквариума; характер паутины кружев, про все это нужно послушать Врубеля художникам. Он бы мог

подвинуть нашу молодежь, ибо часто мы перестанем выхватывать красивое, отрезать его от ненужного. Врубель мог бы поучить, как надо искать вещь; как можно портить работу свою, чтобы затем поднять ее на высоту еще большую. В работах Врубеля, в подъемах и падениях есть нерв высокого порядка, далекий от самодовольного мастерства или от беспутных хватаний за что попало. Но поражающее, а завлекающее есть в работах Врубеля — верный признак их жизнеспособности на долгое время. Подобно очень немногим, шедшим только своей дорогою, в вещах Врубеля есть особый путь, подсказанный только природой. Эта большая дорога полна спусков и восходов. Врубель идет ею. Нам нужны такие художники.

Будем беречь Врубеля.

Куинджи скончался. Большой, сильный, правдивый Куинджи скончался.

"Куинджи — отныне это имя знаменито", — громко писали об Архипе Ивановиче, когда о нем высказались такие разнообразные люди, как Тургенев, Достоевский, Менделеев, Суворин, Петрушевский.

И с тех пор имя Куинджи не сходило с памяти.

Вся культурная Россия знала Куинджи. Даже нападки делали это имя еще более значительным. Знают о Куинджи — о большом, самобытном художнике. Знают, как он после неслыханного успеха прекратил выставлять; работал для себя. Знают его как друга молодежи и печальника обездоленных. Знают его как славного мечтателя в стремлении объять великое и всех примирить, отдавшего все свое миллионное состояние. Знают, какими личными лишениями это состояние было составлено. Знают его как решительного заступника за все, в чем он был уверен и в честности чего он был убежден. Знают как строгого критика; и в глубине его часто резких суждений было искреннее желание успеха всему достойному. Помнят его громкую речь и смелые доводы, заставлявшие иногда бледнеть окружающих.

Знают жизнь этого удивительного мальчика из Мариуполя, только личными силами пробившего свой широкий путь. Знают, как из тридцати поступавших в Академию один Куинджи не был принят. Знают, как Куинджи отказал Демидову, предложившему ему за 80 000 рублей повторить несколько картин. Еще жив служитель Максим, получавший рубли, лишь бы пустил стать вне очереди толпы во время выставки картин Куинджи на Морской. С доброй улыбкой все вспоминают трогательную любовь Архипа Ивановича к птицам и животным.

Около имени Куинджи всегда было много таинственного. Верилось в особую силу этого человека. Слагались целые легенды.

Если некоторые друзья Куинджи пытаются обойтись теперь без прислуги, то Куинджи без всяких проповедей всю жизнь прожил со своей супругой Верой Леонтьевной без чьих бы то ни было услуг. С особым чувством каждый из нас, подходя к дверям, слышал рояль и скрипку в квартире, где жили "двое".

Вспоминаю, каким ближе всего чувствую я Архипа Ивановича после близкого общения пятнадцати лет.

Помню, как он принял меня в мастерскую свою. Помню его, будящего в два часа ночи, чтобы предупредить об опасности. Помню его, конфузливо дающего деньги, чтобы передать их разным беднякам и старикам. Помню его стремительные возвращения, чтобы дать совет, который он, уже спустясь с шести этажей, надумал. Помню его быстрые приезды, чтобы взглянуть, не слишком ли огорчила резкая его критика. Помню его верные суждения о лицах, с которыми он встречался.

О многом он знал гораздо больше, нежели они могли предполагать. Из двух, трех фактов, с чуткостью подлинного творца, он определял цельные положения. "Я говорю не так, как есть, а так, как будет". Помню его милое прощающее слово: "Бедные они!" И на многих людей он мог установить угол понимания и прощения. Тихие долгие беседы наедине больше всего будут помниться учениками Архипа Ивановича.

"Хорошие люди тяжело помирают". Так верит народ. Среди мучительных удуший Архипа Ивановича вспоминалась эта примета. Народная мудрость указала, что умер хороший, крупнейший человек.

Душам умерших нужны воспоминания — сколько их будет об Архипе Ивановиче Куинджи! О нем не забудут.

Бывают смерти, в которые не верят. Петербург не поверил смерти Серова. Целый день звонили. Целый день спрашивали. Целый день требовали опровержений. Не хотели признать ужасного, непоправимого. Серов — настоящий, подлинный, а потеря его — настоящая, невознаградимая. Жаль умирающих старцев. Жаль умерших детей. Но когда гибнет человек среди яркого творчества, среди счастливых исканий, полный своей работой, то не просто жаль, а страшно, просто ужасно примириться со случившимся. В лучшую пору самоуглубления, в лучшие дни знаний искусства и лучшей оценки людей явно жестоко вырван из жизни подлинный художник, смелый, честный и настоящий, требовательный к другим, но еще более строгий к себе, всегда горевший чистым огнем молодости.

Вчера имя Серова так часто в нашем искусстве произносилось совсем обычно, но сегодня в самых разных кругах самые различные люди почувствовали размеры значения его творчества и величину личности Валентина Александровича. Он сам — самое трудное в искусстве. Он умел высоко держать достоинство искусства. Ни в чем мелком, ни в чем недостаточно проверенном укорить его нельзя. Он умел ярко отстаивать то, во что он поверил. Он умел не склоняться в сторону того, во что ему еще не верилось вполне. В личности его была опора искусству. В дни случайностей и беглых настроений значение В. А. незаменимо. Светлым, стремящимся к правде искусством закрепил он свою убедительность в жизни.

Был подвиг в жизни и в работе Серова. Редкий и нужный для всей ценности жизни подвиг. Подвиг этот вполне почувствуют еще сильнее. Великий подвиг искусства творил Серов своей правдивой, проникновенной работой, своим неизменно правдивым словом, своим суровым, правдивым отношением к жизни. И все, к чему приближался В. А., принимало какое-то особенное обаяние. Друга искусства В. А. в день примирения, в день смерти можно назвать врагом только в одном отношении — врагом пошлости. Всей душой чувствовал он не только неправду и неискренность, но именно пошлость. Пошлость он ненавидел, и она не смела к нему приближаться.

Как об умершем, просто нельзя говорить о В. А. Поймите, ведь до чего бесконечно нужен он нашему искусству. Если еще не понимаете, то скоро поймете. Укрепление на земле памяти об ушедших от нас нужно, и в этом воспоминании об ушедшем от нас Серове будет слабое утешение. Мы будем видеть и знать, что он не забыт, что труд его жизни служит славным примером. Мы и наши дети будем видеть, что произведения Серова оценены все более и более и помещены на лучших местах, а в истории искусства Серову принадлежит одна из самых красивых страниц.

За гранью обычно оформленного слагается особый язык.

Несказанное чувство. Там вспыхивает между нами тайная связь. Там понимаем друг друга неожиданными рунами жизни; начинаем познавать встречное взором, близким вечному чуду.

Чудо жизни победное и страшное! Чудо, заполняющее все глубины природы, подножие вершин бытия! Оно редко выявляется рукой человека.

Египет, Мексика, Индия... — чудно, но не явно. Узоры прекрасные, сверкающие блески, но ткань уже истлела. Но живы еще волокна жизни, сплетенной старыми японцами. Аромат сказки еще струится над желтеющими листьями, над стальной патиной лаков.

Глазу живому — горизонт необъятный. Сложенное старым японцем учит и поражает. Ослепляющая задорная жизнь: правда великого в малом. Тончайший иероглиф жизни — рисунок, в многообразии подробностей сохранивший полный характер общего. Высшая законность в силе незаконного размаха. Невинность в призраке бесстыдства. Дьявольская убедительность фантастики. Песня чудесных гармоний красок, которая одна только может успокоить наше подстреленное сознание; особенно сейчас.

Вершины искусства, часто чуждые нам, преобразились в творениях японцев.

И мы все-таки далеки от этой волшебной ткани — жизни. Говорю "все-таки", — в нем и печаль об античном, и горе его сознания; в нем подавленность громадами наших музеев, и гордость нашими исканиями, и ужас закоптелых заслонок нашей жизни...

Все наши пороги Искусства, где мы спотыкаемся, старый японец попирает смело. Аристократизм Искусства, народность, романтизм, символика, сюжетность, историчность, этнография, — все нам и милое и чуждое, — все сочеталось в старом японце, и все презрено; все претворилось в красивое.

И это "красивое" — неопасное слово.

Имеет право не обходить таких слов народ, выходящий весной из города приветствовать пробужденную природу; народ, каждый день разбирающий свои сокровища — картины; народ, не находящий возможным даже сказать художнику цену художественного произведения. Где, как не в Японии, такое количество собраний Искусства? В какой другой стране настолько почетно назваться собирателем художественных произведений?

И рожденный такой страной художник имеет высокое право верить в себя; и безмерное его трудолюбие, и бесчисленность творений его — не прямо работы, а незаметные ему самому следы стремительно блестящего порыва.

Правда, только таким необузданным порывом проникновения своим делом могли создаваться и гигантские фигуры богов, и большие панно, широко залитые потоками краски, магически остановленной в границах верных контуров. Только бодрая жизнь могла рассыпать тончайшие графические мелочи; как часто перед нами графики Запада являются грубо преднамеренными! Не обращаясь даже к древности, — лишь в пределах средних веков — и Восток и Запад охватывает полоса высокого проникновения действ, неожиданность расположения фигур, чутье в украшении книги и рукописи, тогда еще действительно значительной, еще не перешедшей в подавляющий хаос исписанной бумаги нашей современности.

Укоризна старого японца нам страшнее случайных осуждений большинства историй об Искусстве.

О течениях японского Искусства мы можем судить только относительно. Наши мерилы, без

сомнения, нечувствительны ко многому, вполне явному в разборе самих японцев. Факты и сведения о Японии, быстро нарастающие, все-таки не открывают нам многих сторон жизни ее Искусства. Борьба "декадента" Хоксая с придворными мастерами нам не убедительна; мы не вполне представляем, в чем тоже красивые предшественники Хоксая враждовали с его вещами.

Мало того, что средних художников Японии мы можем различать лишь формально, мы с трудом можем представить себе картину, как расходились по всем углам страны рисунки и оттиски в блестящем шествии феодалов от двора Микадо и как подходил народ к этим подаркам.

Одно только ясно: культура Искусства Японии имела прочную почву, и народ принял ее, освятив строем жизни. Обратное нам, где культура Искусства, непрошенная, врывается в жизнь страны извне, от ненужных народу мечтателей. Будет ли Искусство в России, или страна избавится от него — это будет заботой не многих миллионов народа, но обидно малой кучки людей... Знаю, как такое состояние наше будут оправдывать и объяснять, но положение вещей от того, право, не улучшается.

О старых японцах можно говорить или очень кратко, набросав только резкие, всегда поразительные черты их работы, или придется сказать не заметкой, а так же подробно, как властно привлекает к себе их многогранная работа. Душа старого японца не вместились на выставке, выставка захватила лишь некоторые блестящие этой души.

Песня — старым японцам. О новых — другое. Неужели и здесь уже работает гильотина европейской культуры?

Все загрубело: рыцарь и бард умерли, и доспехи их теперь — странные пятна бутафории. Природа все та же, те же волны вишневого, те же бездны акаций, пионов, тюльпанов, но доступ их к сердцу закрыт; творец стал механиком. Грубеют тона и рисунок.

Гений обобщения рассыпался спорными пятнами и мелкими линиями. И нет новым японцам оправдания в том, что их лубки безмерно выше мерзости, распространяемой в народе у нас. Мы — не пример. Но придется новому японцу ответить суду истории за японский зал на прошлой всемирной выставке Парижа. Японцы — парижские неоимпрессионисты! Какая жестокая нелепость.

Такого нового не надо. О нем не хочу говорить.

Теперь японцы скупают обратно многие сокровища свои. Хочу, чтобы это было не историческое достоинство, не собирательство; чтобы это было пробуждение старой мощи Искусства. Хочу, но могу ли желать?

# Художественная промышленность

Художественная промышленность — какое унижительное слово.

В то время когда искусство стремится проникнуть снова за пределы холста или глины, когда искусство доходит до мельчайших закоулков жизни, тогда-то мы своими руками устраиваем ему оскорбительные препятствия. Из боязни большого мы хотим оторвать от искусства целые широкие области; мы знаменуем это отделение унижительным именем: промышленность.

Стоит ли говорить об имени? Конечно, имя не более как относительный звук; пусть оно только условность без обязательств, — ведь как могут причастные и служащие защищать прозвание целой области искусства? Но ведь таким же порядком и все условно; всегда приходится говорить только о степени условности. И менее всего уместна обидная приблизительность там, где любим. Для посторонних прохожих неизвестное название ничего не обозначает, но не так для ближайших...

И не об одном только названии говорится. Печально то, что название это сознательно укрепляет существенную грань в пределах искусства. В силу этой грани в искусство часто допускается многое ненужное, а драгоценные начатки погибают.

Может ли быть промышленность нехудожественной?

Нет. Нет, если искусство действительно должно напитать глубоко всю жизнь и коснуться всех творческих движений человека. Ничто этому условию не чуждо. Само фабричное производство — это неизбежное зло — должно быть поработано искусством. Раскрытые двери музеев, привлекательные объяснения и лекции пусть скажут о великом, вездесущем искусстве каждому рабочему.

Может ли быть часть искусства, в отличие от прочего, промышленною?

Нет. Или, думая цинично, все искусство промышленно, или для культурного мышления искусство в целом остается всеосвящающим, всеочищающим понятием, всюду раздающим свои блестящие дары.

Допустим, школы искусства. Они могут быть высшие и низшие. И пусть младшие растут в общении с опытом старших и добровольно проходят ступени любимого дела. Посвященные и послушники везде есть. Но послушники эти, усвоив уменье, должны иметь возможность посвящения по доброй воле во все степени таинства. С первых шагов младшие должны почувствовать все обаяние дела и искать то, что ближе другого суждено им. В этом — тайна учительства, открывающего пути.

Но представьте теперь человека, мало знающего, иногда случайно пришедшего к искусству. Целый ряд лет ему всячески вбивается в голову, что многое не должно быть ему доступно, что его художественный удел должен быть ниже судьбы других. Как вящее вразумление такому человеку даются и уменьшаются права гражданские, преступить которые почти невозможно. Когда все права от искусства должны быть уничтожены, тогда они не только существуют, но еще и отделяют друг от друга деятелей одной сплошной области. Вместо художника, прошедшего краткую школу, которому возможен подъем и совершенствование, получается раб клейменный, почти без доступа в прочие степени мастерства. Бесконечное неудовлетворимое желание высшего блага; постоянное стремление бросить свое, часто превосходное по задаче, и идти туда, куда "почти нельзя". Значение дела исчезает. Обособленность сверху и снизу растет.

Мы выделяем особую касту, забывая об общей участи всех каст.

Раб "художественной промышленности" настолько же нелеп и жалок, насколько некультурен художник, затворивший себе все двери выявления творчества, кроме холста или



глины.

Устраивайте как можно больше общеобразовательных и технических учреждений, делайте их даже обязательными и бесплатными; раздавайте в них права и все, если что нужно, но область искусства оставьте вне общего, только в законах вечных слов красоты.

Кажется, все говоримое безмерно старо и просто. Все это само вытекает из широкого понятия искусства. Вспоминать об этом, да еще говорить, даже стыдно. Но тут же мы помним, что еще только у нас делается. Ведь только теперь открываются школы обособленной художественной промышленности. Только что разработаны и дополняются постепенно их штаты. Ведь этот раскол живого организма мы только еще начали регламентировать. Мы еще так далеки от сознания негодных действий, что только начинаем наивно удивляться уродливым явлениям приложения искусства к жизни. Число жертв подсчитать мы собираемся еще очень не скоро.

Собрались молодые. Говорят:

— Бессмысленное "декадентство" — упадок искусства! Пошлое непросвещенное отношение к лучшим задачам творчества! Отрицание заветов истории искусства! Дурной вкус, некультурное непонимание всей благородной прелести искусства. Спешите к первоисточнику, не глядите на время упадка. Берегите красоту старины.

Так ругают "декадентство".

Сошлись старые; уселись в круг. Шепчут:

— Берегитесь от "декадентов". Проклинайте их, бесформенных. Ужасайтесь их пошлости. Где им, некультурным, до высокого вкуса старинных мастеров! Где им, дерзким, до тончайших родников искусства. Они отрицают все ступени истории. Гоните их, опасных; закрывайте им двери и ходы. Мы защищаем старину.

— Смотрите вперед и знайте все прошлое, — говорят молодые.

— Учитесь у прошлого, им вступайте в будущее, — опускают на плечо руку старые.

— Постигайте мастерство Рембрандта и Веласкеса; трепещите перед тайнами да Винчи; сознайте силу Анджело; любите благородство Боттичелли, Гоццоли, Джотто, — голос молодых.

— Изучайте штрих Микеланджело; мечтайте понять всю проникновенность Леонардо да Винчи. Удивляйтесь Тициану, преклонитесь перед силой Рембрандта, перед потоком мощи Рубенса, — поучают старые.

Еще говор по всем сторонам. Толкуют о том же и те, и другие. Те же имена. Стремление изучить их. Еще много имен. Хотят знать историю искусства; перечисляют наизусть страницы ее.

Громкий, согласный хор о великой жизни искусства.

Желание общее внести красоту в наше время. И, мигая значительно, круги теснее сближаются.

И тут же пропасть. Крепкие единомыслием, обхватив друг друга, устремились старые к молодым:

— Прочь "декаденты"; вам нет здесь дороги!

Молодые смотрят изумленно:

— Отойдите, упадочники! Это мы бережем красоту, это мы стремимся познать ее и на ней строить будущее.

— Прочь, мы не хотим знать вас.

— Вы от нас далеки.

И в обрывках спора мешаются и гаснут великие примеры. В речах не слышно "тех же" имен, и враги стоят на пути; цепко ухватились молодые и старые; в неистовом напряжении сгибают друг друга. А вне путей движения "будто новое", "другое" и смеясь и идет к красоте.

Уже седеют молодые, и, не видя себя, удивленно глядят на них старики.

И злоба роет новые пропасти, и вереницы имен не заполняют бездну борьбы жизни.

История искусства переворачивает страницу.

Надвигается сезон премии.

Разные премии назначаются и специальными жюри, и целым составом учреждений. Размеры премий и внушительны, и унижительно малы.

В последнее время на премии создается нечто вроде моды. Число их увеличивается с каждым годом и пожертвованиями и завещаниями. О премиях пора подумать.

Вероятно, и художественный съезд пожелает высказаться относительно премий.

Медали и похвальные листы уже признаются самими художниками "несовременными". Так, на римской выставке "Мир искусства" уклонился от медалей и наград, признавая их пережитком. В некоторых школах отменяются денежные награды для того, чтобы оставить отличия нравственные.

Несомненно, выдвигается понятие о высшей справедливости, в силу которой заслуживает похвалы творение или действие прежде всего.

Каковы же похвала и отличие художественного произведения?

Что важнее? Выдача ли сотни рублей автору произведения из рук случайной группы людей, обусловленной случайным приходом или неприходом дружественного или враждебного человека, или сохранение в музее самого произведения? Каждому из нас известны случаи, когда премированное произведение, почему-либо затем не проданное, погибало, свернутое в трубку, или оказывалось в самых непрочных руках.

Известны также случаи, когда премированные авторы чувствовали себя далеко не счастливыми, вследствие непрошенных, навсегда закрепленных сравнений. Словом, без всякой ошибки можно сказать, что каждая выдача премий сопровождается самыми нелепыми нареканиями и недовольствами. При каждом назначении премий вылезают наружу самые неприятные чувства, которые общественность, казалось бы, должна усыплять, а не обострять.

Словом, излишне долго говорить о темных сторонах премий. Все хотя бы частью соприкасавшиеся с этим делом знают все недоразумения премирования. Сама публика, толпа — и та, вероятно, вполне чувствует, что около премий всегда происходит нечто темное. Упаси Бог, — не в смысле подтасовки, а в отношении обостренных страстей.

Окончательно трагичным становится дело премий, если мы узнаем, что большинство их оставлено по завещанию, и дело, кажется, непоправимо.

Но вопрос о премиях так назрел. Премии так множатся, что и из этого трудного положения надо искать выход. Надо прибегнуть к наследникам завещателей, надо просить высшие установления об изменении цели средств, назначенных на премии. Это тем более жизненно, что, я убежден, большинство завещателей, видя, какие ощущения их средства порождают, охотно бы изменили их назначение.

А новое назначение этих средств так близко, так справедливо! Надо покупать лучшие художественные произведения. Надо их сохранить на радость и гордость всего народа, всей земли.

Какое же большее, какое же лучшее отличие может быть для художника, нежели сознание, что его творение сохранено в прочном месте и, неиспорченное, может прожить долгие годы.

И жертвователи должны сознавать, что их средства, их имена не погребены в запыленных протоколах выдач и живут вместе с сохраненными благодаря им произведениями. И как далеки все ощущения приобретения от денежной выдачи. Сохранение красивой вещи всегда даст радость, а деньги, как деньги, всегда имеют свои специфические ощущения.

Разница сохранения произведения в лучших условиях и в выдаче премий настолько велика,

что не нужны никакие примеры.

Может быть, и теперь где-нибудь среди безграничной России кто-либо хочет оставить свои средства и имя для премии. Пусть этот щедрый человек подумает о лучшем применении своих сбережений. В его руках находится возможность сохранить творения искусства на общую радость. В этом будет светлое назначение средств.

В разгар выставочного времени, среди выдач премий, во время художественного съезда, пора подумать о превращении премий в хорошее, красивое дело сохранения предметов искусства.

# Индийский путь

В Париже весной для меня была радость. В музее Чернусского открыта выставка предметов восточного искусства из частных собраний. Сама по себе выставка очень интересна. Вещи выбраны со вкусом и знанием. Превосходны разные живописные и лепные священные изображения Индии, Цейлона, Сиамы, Японии, Индо-Китая.

Не пройти равнодушно мимо эпических красок, мимо чернолаковой бронзы, мимо цветистой и великолепной космогонии.

Но на выставке было и другое, для нас, русских, уже особо значительное. За эту радость я очень благодарен моему другу В. В. Голубеву.

Уже давно мечтали мы об основах индийского искусства. Невольно напрашивалась преемственность нашего древнего быта и искусства от Индии. В интимных беседах часто устремлялись к колыбели народной, а нашего славянства в частности.

Конечно, могли говорить нам: мечты неосновательны, предположения голословны, догадки полны личных настроений. Нужны были факты.

И вот теперь В. В. Голубев (живущий почти всегда в Париже) наконец начал большое дело. Начал это дело так умело, так прочно, что можно, по моему убеждению, ждать крупных достижений.

Если дело пойдет так, как начато, то Голубев создаст себе возможность первому от русской жизни пройти по новому направлению к истокам индийского искусства и жизни.

В. В. Голубев снарядил экспедицию в Индию. Были всякие трудности. Несколько участников погибло от жары и лихорадки, но зато были привезены снимки и предметы и, главное, наблюдения, которым должен радоваться каждый русский.

На выставке музея Чернусского ожидал меня Голубев, и то, что он показал и рассказал мне, было так близко, так нам нужно и так сулило новый путь в работе, что оба мы загорелись радостью.

Теперь все догадки получали основу, все сказки становились былью.

Обычай, погребальные "холмы" с оградами, орудия быта, строительство, подробности головных уборов и одежды, все памятники стенописи, наконец, корни речи — все это было так близко нашим истокам. Во всем чувствовалось единство начального пути.

Ясно, если нам углубляться в наши основы, то действительное изучение Индии даст единственный материал. И мы должны спешить изучать эти народные сокровища, иначе недалеко время, когда английская культура сотрет многое, что нам так близко.

Обычай вымирают, быт заполняется усовершенствованиями, гробницы и храмы оседают и разрушаются.

Голубев, чуткий к искусству, взял в этом изучении верный путь. Не путь отшельника-ученого, летописца для будущих веков, а путь повествователя на пользу и сведение всем, кому дороги искусство и скованная им жизнь.

Мы поняли значение византийских эмалей. Мы поняли, наконец, и ценность наших прекрасных икон. Теперь иконы уже вошли в толпу, и значение их укреплено. Через Византию грезилась нам Индия; вот к ней мы и направляемся.

Не надо пророчествовать, чтобы так же, как об иконах, сказать, что изучение Индии, ее искусства, науки, быта, будет ближайшим устремлением.

Нет сомнения, что эти поиски дадут отличные последствия. Но, повторяю, надо спешить. Надо не упустить многие последние возможности.

Вот почему считаю, что дело, начатое В. В. Голубевым, должно нас радовать чрезвычайно.

Надо знать, что за первой экспедицией решена и вторая. В будущем у Голубева растут планы, о которых я еще не могу говорить.

Пусть Голубев сам подробно ознакомит нас со своими выводами и планами. Жаль, если французы с их верным чутьем скорее нас поймут значение работы Голубева.

Желаю нашей Академии наук вовремя еще серьезнее обратить внимание на эти работы.

Желаю В. В. Голубеву всякой удачи и жду от него бесконечно многозначительного и радостного.

К черным озерам ночью сходятся индийские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. Вызывают из воды священных черепах. Их кормят. В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают.

Живет в Индии красота.

Заманчив Великий Индийский путь.

"Пойдем к дедушке".

Бежит веселая детвора вниз по лестнице. Минуем диванную и угловую. Пробегаем библиотекой по тонко-скрипучему полу.

Старый Федор впускает в высокую темную дверь дедушкина кабинета.

Все у дедушки особенное.

Нравятся нам кресла с драконами. Вот бы нам такие в детскую! Хороши у дедушки часы с длинной музыкой. В шкафах с разноцветными стеклами книги с золотыми корешками. Висят черные картины. Одна, кажется нам, давно висит вверх ногами, но дедушка не любит, чтобы у него что-либо трогали.

Много приятных вещей у дедушки. Красный стол можно вывернуть на десять фигур. Можно перебрать цветные чубуки в высокой стойке. Можно потрогать масонские знаки (не дает надевать) и ширмы со смешными фигурами.

А когда дедушка бывает добрый и нога у него не болит, он откроет правый ящик стола.

Тут уж без конца всяких занятных вещей.

А сам-то дедушка какой миленький! Беленький, беленький! В "гусарском" халатике.

Полюбили мы бегать к дедушке после всяких занятий.

Рады мы дедушке.

Другое.

"Дедушка к себе велят идти".

Сердитый дедушка. Высокий, серый такой, колючий. Не угадать по нему сделать. Все-то он лучше всех знает. Все, что было при нем, лучше всего. Все должно быть так, а не иначе. Ругает и все что-то требует.

"Иван, скажи дедушке, что мы гулять ушли".

Вернемся — там и обедать пора. Лучше завтра к нему ходим.

Все равно ругать будет.

Все хорошо, пока люб нам дедов кабинет. Пока дед для нас милый и белый.

Но когда серый, жесткий дед заслонит нашу живую жизнь, крепкую только будущим, — тогда плохо. Тогда пропал дедов кабинет. Как бы его потихоньку и не нарушили опять.

О почитании старины я говорил больше других, но и боюсь за него.

Когда окружится старина всеобщим признанием. Когда укрепится старина всякими строгими запретами. Когда из милой, даже гонимой, старина возвеличится и властно потребует покорности, — тогда неугомонное, бурливое будущее может дать сильный отпор. После спасения старины и умиления ею как бы не почувствовалось утомление и, чего Бог упаси, не усомнились бы в будущем современного творчества.

Покуда дед — не запрет и отрицание, а благоуханная минута милой мудрой старины, до тех пор мы бежим к нему. Но как только около дедова кабинета раздадутся запрещения, отрицания, угрозы, тогда как бы молодое не ушло гулять. Скажут: нам будущее дороже. Еще недавно мы могли кричать:

— Грех, смертный грех прикоснуться к дедову кабинету. Грех переставить там по своему неразумению. Грех не стремиться в милый кабинет белого, мудрого деда.

И правда, теперь около старины, во славу ее, жизнь наполняется запретами и угрозами. Так в новых законах о сохранении старины предусмотрены всякие кары за нарушение старины, но нет никакой награды за заботу о ней.

Конечно, и грозить иногда приходится, но строить какую-либо жизнь на запретах и грозе

нельзя, и я чувствую, что, смотря на будущее, пора сказать:

— Пусть дедов кабинет останется самым милым, самым любимым местом в доме. Пусть дед не стесняет молодую жизнь. Пусть в лучшие минуты мы стремимся к деду. Пусть дедовы законы лягут в основу, но лишь в основу строения будущего.

Летом лишний раз о мудрой старине подумайте.



Добрый глаз редок. Дурной глаз в каждом доме найдется.

Мне говорили, что Станиславский заставляет своих учеников:

— "Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее".

Чуткий художник видит, что огромное большинство из нас с наслаждением служит культу худшего, не умея подойти ко всему, что радость приносит.

С великим рвением мы готовы произносить хулу перед тем, что нам не любо. Какое долгое время мы готовы проводить около того, что нам показалось отвратительным.

Встреча с нелюбимым порождает яркие слова, блестящие сравнения. И быстры тогда наши речи, и сильны движения. И горят глаза наши.

Но зато как медленно-скучны бывают слова ласки и одобрения. Как страшимся мы найти и признать. Самый запас добрых слов становится бедным и обычным. И потухают глаза.

Удалось испытать одного любителя живописи. За ним ходил с часами и незаметно замечал время, проводимое им около картин. Оказалось, около, картин осужденных было проведено времени слишком вдвое больше, нежели около вещей ободренных.

Не было потребности смотреть на то, что, казалось, доставило радость; нужно было потратить время на осуждение.

— "Теперь знаю, чем вас удержать. — Надо окружить вас вещами ненавистными".

Мы, славяне, особенно повинны во многоглаголании худшего. В Европе уже приходят к замалчиванию худого, конечно, кроме личных выступлений.

Если что показалось плохим, — значит, оно не достойно обсуждения. Жизнь слишком красива, слишком велика, чтобы загрязнять себя зрелищем недостойным. Слишком много радостного, много заслуживающего отметки внимания. Но надо знать бодрость и радость.

Надо знать, что нашему "я" ничто не может вредить. Остановливаясь перед плохим, мы у себя отнимаем минуту радости. Удерживаем себя вместо шага вперед.

Учиться радости, учиться видеть лишь бодрое и красивое! Если мы загрязнили глаза и слова наши, то надо учиться их очистить. Строго себя удержать от общения с тем, что не любилось.

И у нас жизнь разрастется. И нам недосуг станет всматриваться в ненавистное. Отойдет ликование злобы.

И у нас откроется глаз добрый.



В очень известном и большом городе жил старый царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. Царевна далеко славилась и лицом и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были и князья, воеводы и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить; были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене; царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвалились женихи: кто именитым родом за тридцать поколений, кто богатством, но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни; песни его напоминали всем их молодые, лучшие годы, при этом он говорил красиво, и его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был князем, но все женихи обращались с ним, как с равным.

В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату, к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода, за ним слуги несли тяжелую, красную книгу. Князь говорил:

— Царевна, мой род очень знатен. В этой книге вписано более ста поколений... — И князь очень долго читал в своей книге, а под конец сказал: — И в эту книгу впишу жену мою! Будет она ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма знаменитых.

— Царевна, — говорил именитый воевода, — окрест громко и страшно имя мое. Спокойна будет жизнь жене моей, и поклонятся ей люди — им грозно имя мое.

— Царевна, — говорил залитый сокровищами заморский торговый гость, — жемчугом засыплю жену мою; пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе.

Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него.

— Что же ты принесешь жене своей? — спросил певца царь.

— Веру в себя, — ответил певец. Улыбнувшись, переглянулись женихи, изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила:

— Скажи, как понять твою веру в себя? Певец отвечал:

— Царевна! Ты красива, и много я слышал об уме твоём, но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода и каждый день читай в его алой книге имя свое и верь в алую книгу! Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового, засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото! В покое спи на золотом ложе и верь в этот покой! Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя! Моего имени нет в алой книге, не мог я засыпать эту палату золотом, и куда иду я — там не читают алой книги и золото там не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где путь мой, и не знаю, куда приду я, и нет мне границ, ибо я верю в себя!..

— Обожди, — прервал певца царь, — но имеешь ли ты право верить в себя?

Певец же ничего не ответил и запел веселую песню; улыбнулся ей царь, радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песню; и примолкла палата, и на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку; не о властном искусстве говорил он, а о том, как шли в жизнь разные люди и пришлось им возвращаться назад, и кому было легко, а кому тяжело. И молчали все, и царь голову опустил.

— Я верю в себя, — сказал певец, и никто не смеялся над ним. — Я верю в себя, — продолжал он, — и эта вера ведет меня вперед; и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли имя мое в алых книгах, но поверю я не золоту и не книге, а лишь самому себе,

и с этой верой умру я, и смерть мне будет легка.

— Но ты оторвешься от мира. Люди не простят тебе. Веря лишь в себя, одиноко пойдешь ты, и холодно будет идти тебе, ибо кто не за нас — тот против нас, — сурово сказал царь.

Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе; пел, как природа верит в себя и как он любит природу и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царица, и сказал певец:

— Вижу я — не сочтут за врага меня люди и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней; без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо, но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве в себе любви — к человеку? Возлюбивший природу не отломит без нужды ветки куста, и человека ли сметет он с пути?

И кивнула головой царица, а царь сказал:

— Не в себя веришь ты, а в песню свою.

Певец же ответил:

— Песня лишь часть меня; если поверю я в песню мою больше, чем в самого себя, тем разрушу я силу мою и не буду спокойно петь мои песни, и не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока буду петь для себя, дотолле будут слушать меня. Я верю в себя в песне моей; в песне моей — все для меня, песню же я пою для всех! В песне люблю лишь себя одного, песней же я всех люблю! Весь для всех, все для меня — все в одной песне. И я верю в себя и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песнью моей живлю всех, — так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь. Пусть она верит в себя и верой этой дает счастье многим!

— Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с высокой горы смотреть на восход!.. — сказала царица.

И дивились все.

И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи — он верил в себя.

1893

Гримр, викинг, сделался очень стар. В прежние годы он был лучшим вождем и о нем знали даже в дальних странах. Но теперь викинг не выходит уже в море на своем быстроходном драконе. Уже десять лет не вынимал он своего меча. На стене висит длинный щит, кожей обитый, и орлиные крылья на шлеме покрыты паутиной и сырою пылью.

Гримр был знатный человек. Днем на высоком крыльце сидит викинг, творит правду и суд и мудрым оком смотрит на людские ссоры. А к ночи справляет викинг дружеский праздник. На дубовых столах стоит хорошее убранство. Дымятся яства из гусей, оленей, лебедей и другой разной снеди.

Гримр долгое темное время проводит с друзьями. Пришли к нему разные друзья. Пришел из Медвежьей Долины Олав Хаки с двумя сыновьями. Пришел Гаральд из рода Мингов от Мыса Камней. Пришел Эйрик, которого за рыжие волосы называют Красным. Пришли многие храбрые люди и пировали в доме викинга.

Гримр налил в ковш меду и подал его, чтобы все пили и каждый сказал бы спую лучшую волю. Все говорили разное. Богатые желали почета. Бедным хотелось быть богатыми. Те, которые были поглупее, просили жизни сначала, а мудрые заглядывали за рубеж смерти. Молодые хотели отличиться в бою, им было страшно, что жизнь пройдет в тишине без победы.

Гримр взял ковш самый последний, как и подобает хозяину, и хотел говорить, но задумался и долго смотрел вниз, а волосы белой шапкой легли на его лоб. Потом викинг сказал:

— Мне хочется иметь друга, хоть одного верного друга!

Тогда задвигались вокруг Гримра его гости, так что заскрипели столы, все стали наперерыв говорить:

— Гримр, — так говорил Олав, который пришел из Медвежьей Долины, — разве я не был тебе другом? Когда ты спешил спасти жизнь твою в изгнании, кто первый тебе протянул руку и просил короля вернуть тебя? Вспомни о друге!

С другой стороны старался заглянуть в глаза Гримра викинг Гаральд и говорил, а рукой грозил...

— Эй, слушай, Гримр! Когда враги сожгли усадьбу твою и унесли казну твою, у кого в то время жил ты? Кто с тобой строил новый дом для тебя? Вспомни о друге!

Рядом, как ворон, каркал очень старый Эйрик, прозвищем Красный:

— Гримр! В битве у Полуночной Горы кто держал щит над тобой? Кто вместо тебя принял удар? Вспомни о друге!

— Гримр! Кто спас от врагов жену твою? Вспомни о друге!

— Слушай, Гримр! Кто после несчастного боя при Тюленьем заливе первый пришел к тебе? Вспомни о друге!

— Гримр! Кто не поверил, когда враги на тебя клеветали? Вспомни! Вспомни!

— Гримр, ты сказал неразумное слово! Ты, уже седой и старый, много видал в жизни! Горько слышать, как забыл ты о друзьях, верных тебе даже во времена твоего горя и несчастий.

Гримр тогда встал и так начал:

— Хочу я сказать вам. Помню я все, что вы сделали мне; в этом свидетелями называю богов. Я люблю вас, но теперь вспомнилась мне одна моя очень старинная дума, и я сказал невозможное слово. Вы товарищи мои, вы друзья в несчастьях моих, и за это я благодарю вас. Но скажу правду: в счастье не было у меня друзей. Не было их и вообще, их на земле не бывает. Я был очень редко счастливым; даже нетрудно вспомнить, при каких делах.

Был я счастлив после битв с датчанами, когда у Лебединога мыса мы потопили сто датских

ладей. Громко трубили рога; все мои дружинники запели священную песню и понесли меня на щите. Я был счастлив. И мне говорили все приятные слова, но сердца друзей молчали.

У меня, не было друзей в счастье.

Был я счастлив, когда король позвал меня на охоту. Я убил двенадцать медведей и спас короля, когда лось хотел бодать его. Тогда король поцеловал меня и назвал меня лучшим мужем. Все мне говорили приятное, но не было приятно на сердце друзей.

Я не знаю в счастье друзей.

Ингерду, дочь Минга, все называли самой лучшей девою. Из-за нее бывали поединки, и от них умерло немало людей. А я женой привел ее в дом мой. Меня величали, и мне было хорошо, но слова друзей шли не от сердца.

Не верю, есть ли в счастье друзья.

В Гуле на вече Один послал мне полезное слово. Я сказал это слово народу, и меня считали спасителем, но и тут молчали сердца моих друзей.

При счастье никогда не бывает друзей.

Я не помню матери, а жена моя была в живых недолго. Не знаю, были ли они такими друзьями. Один раз мне пришлось увидеть такое. Женщина кормила бледного и бедного ребенка, а рядом сидел другой — здоровый, и ему тоже хотелось поесть. Я спросил женщину, почему она не обращает внимания на здорового ребенка, который был к тому же и пригож. Женщина мне ответила: "Я люблю обоих, но этот больной и несчастный".

Когда несчастье бывает, я, убогий, держусь за друзей. Но при счастье я стою один, как будто на высокой горе. Человек во время счастья бывает очень высоко, а наши сердца открыты только вниз. В моем несчастье вы, товарищи, жили для себя.

Еще скажу я, что мои слова были невозможными и в счастье нет друга, иначе он не будет человеком.

Все наши слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили.

1899

Таково предание о Чингиз-хане, вожде Темучине.  
Родила Чингиз-хана нелюбимая ханша.  
Стал Чингиз-хан немилым сыном отцу.  
Отец отослал его в дальнюю вотчину.  
Собрал к себе Чингиз других нелюбимых.  
Глупо стал жить Чингиз-хан.  
Брал оружие и невольниц, выезжал на охоту.  
Не давал Чингиз о себе вестей.  
Вот будто упился Чингиз кумысом  
И побился с друзьями на смертный заклад,  
Что никто от него не отстанет!  
Тогда сделал стрелку-свистунку Чингиз.  
Слугам сказал привести коней.  
Конными поехали все его люди.  
Начал дело свое Чингиз-хан.  
Вот Чингиз выехал в степь,  
Подъезжает хан к табунам своим.  
Нежданно пускает свистунку Чингиз.  
Пускает в лучшего коня десятиверстного.  
А конь для татар — сокровище.  
Иные убоялись застрелить коня.  
Им отрубили головы.  
Опять едет в степь Чингиз-хан.  
И вдруг пускает свистунку в ханшу свою.  
И не все пустили за ним свои стрелы.  
Тем, кто убоялся, сейчас сняли головы.  
Начали друзья бояться Чингиза,  
Но связал он их всех смертным закладом.  
Молодец был Чингиз-хан!  
Подъезжает Чингиз к табунам отца.  
Пускает свистунку в отцовского коня.  
Все друзья пустили стрелы туда же.  
Так приготовил к делу друзей,  
Испытал Чингиз преданных людей.  
Не любили, но стали бояться Чингиза.  
Такой он был молодец!  
Вдруг большое начал Чингиз.  
Он поехал к ставке отца своего  
И пустил свистунку в отца.  
Все друзья Чингиза пустили стрелы туда же.  
Убил старого хана целый народ!  
Стал Чингиз ханом над Большой Ордой!  
Вот молодец был Чингиз-хан!  
Сердились на Чингиза Соседние Дома.

Над молодым Соседние Дома возгордились.  
Посылают сердитого гонца:  
Отдать им все табуны лучших коней,  
Отдать им украшенное оружие,  
Отдать им все сокровища ханские!  
Поклонился Чингиз-хан гонцу.  
Созвал Чингиз своих людей на совет.  
Стали шуметь советники;  
Требуют: "идти войной на Соседний Дом".  
Отослал Чингиз таких советников.  
Сказал: "нельзя воевать из-за коней",  
И послал все ханам соседним.  
Такой был хитрый Чингиз-хан.  
Совсем загордились ханы Соседнего Дома.  
Требуют: "прислать им всех ханских жен".  
Зашумели советники Чингиз-хана,  
Жалели жен ханских и грозили войною.  
И опять отослал Чингиз советников.  
И отправил Соседнему Дому всех своих жен.  
Такой был хитрый Чингиз-хан.  
Стали безмерно гордиться ханы Соседнего Дома.  
Звали людей Чингизовых трусами,  
Обидно поносили они ордынцев Большой Орды,  
И, в гордости, убрали ханы стражу с границы.  
И забавлялись ханы с новыми женами.  
И гонялись ханы на чужих конях.  
И злоба росла в Большой Орде.  
Вдруг ночью встал Чингиз-хан.  
Велит всей орде идти за ним на конях.  
Вдруг нападает Чингиз на ханов Соседнего Дома.  
Полонил всю их орду.  
Отбирает сокровища, и коней, и оружие.  
Отбирает назад всех своих жен,  
Многих даже нетронутых.  
Славили победу Чингиза советники.  
И сказал Чингиз старшему сыну Откаю:  
"Сумей сделать людей гордыми.  
И гордость их сделает глупыми.  
И тогда ты возьмешь их".  
Славили хана по всей Большой Орде;  
Молодец был Чингиз-хан!  
Положил Чингиз-хан Орде вечный устав:  
"Завидующему о жене — отрубить голову.  
Говорящему хулу — отрубить голову.  
Отнимающему имущество — отрубить голову.  
Убившему мирного — отрубить голову.  
Ушедшему к врагам — отрубить голову".



Положил Чингиз каждому наказание.  
Скоро имя Чингиза везде возвеличилось.  
Боялись Чингиза все князья.  
Как никогда богатела Большая Орда.  
Завели ордынцы себе много жен.  
В шелковые одежды оделись.  
Стали сладко есть и пить.  
Всегда молодец был Чингиз-хан.  
Далеко видит Чингиз-хан.  
Приказал друзьям: разорвать шелковую ткань  
И прикинуться больными от сладкой еды.  
Пусть народ по-старому пьет молоко.  
Пусть носят одежду из кож,  
Чтобы Большая Орда не разнежилась.  
У нас молодец был Чингиз-хан!  
Всегда готова к бою была Большая Орда,  
И Чингиз нежданно водил Орду в степь.  
Покорил все степи Таурменские.  
Взял все пустыни Монгкульские.  
Покорил весь Китай и Тибет.  
Овладел землей от Красного моря до Каспия.  
Вот был Чингиз-хан-Темучин!  
Попленил Ясов, Обезов и Половцев,  
Торков, Косогов, Хозаров,  
Аланов, Ятвягов разбил и прогнал.  
Тридцать народов, тридцать князей  
Обложил Чингиз данью и податью.  
Громил землю русскую, угрожал кесарю.  
Темучин-Чингиз-хан такой молодец был.

# Марфа Посадница

По Мсте, красивой, стоят городища. На Тверской стороне во Млеве был монастырь. Слышно, в нем скрывалась посадница Марфа. В нем жила четырнадцать лет. В нем и кончилась.

Есть могила Марфы во Млеве. Тайно ее там схоронили. Уложили в цветной кафельный склеп. Прятали от врагов. Так считают. Уже сто лет думают так, и склеп не открыт до сих пор.

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов новгородской земли туда идет народ. Со всеми болезнями, со всеми печальями. И помогает Марфа.

Является посадница в черной одежде с белым платком на голове. Во сне является недугующим и посылает на могилу свою. Идут. Молятся. И выздоравливают.

Марфа-заступница! Марфа — помощница всем новгородцам! Лукавым, не исполнившим обещания, Марфа мстит. Насыляет печаль еще горшую.

В старую книгу при млевской церкви иереи вписали длинный ряд чудес Марфы. Простодушно вписали вместе с известиями об урожаях, падежах, непогодах.

С Тверской стороны не являются на могилу Марфы. Обаяние ее туда не проходит. К посаднице идут только от новгородских пятин. Идут, почему не знают. Служат молебны. Таинственный атавизм ведет новгородцев ко млевской могиле.

Когда речь идет о национализме искусства, вспоминаю этот путь новгородцев. Мы мало различаем чванный пестрый национализм от мистики атавизма. Пустую оболочку — от внутренних нитей. Мешаются часто последовательности, племенная и родовая.

Уже не смеемся, а только не доверяем перевоплощению. С недоумением подбираем "странные" случаи. Иногда страшимся их. Уже не бросаем их в кучу, огулом. То, что четверть века назад было только смешно, теперь наполняется особым значением.

Новые границы проводятся в искусстве. Пестрый маскарад зипуна и мурمولки далеко отделяет от красот старины в верном их смысле. Привязные бороды остаются на крюках балагана.

Перед истинным знанием отпадут грубые предрассудки. Новые глубины откроются для искусства и знания. Именно атавизм подскажет, как нужно любить то, что прекрасно для всех и всегда. Чарами атавизма открывается нам лучшее из прошлого.

Заплаты бедности, нашивки шутовские нужно суметь снять. Надо суметь открыть в полном виде трогательный облик человеческих душ. Эти образы смутно являются во сне, — вехи этих путей наяву трудно открыть.

Время утратить сущность земли. Под землю не спрятать того, что нужно народу. Незнаемый никем склеп Новгород помнит. Славит хозяйку. Тайком служит молебен.

Марфа, сильная духом, нам помоги.

1906

В одной старинной итальянской рукописи — кажется, пятнадцатого столетия — начальные страницы и все украшения книги были вырваны благородною рукой любителя библиотек, — простодушно рассказывается о том, как пришел ученик, к учителю-живописцу Сано ди Пиетро за советом о своей картине.

Учитель трудился над спешной работой и не мог прийти на зов ученика, начавшего самостоятельно картину "Поклонение волхвов" для небольшой сельской церкви Сиеннского округа.

Учитель сказал:

— Мой милый, я дал слово настоятелю Монтефалько не покидать своего дома, пока не закончу заказанное им "Коронование Пресвятой Девы". Но скажи, в чем сомнения твои. Я боюсь, не слишком ли долго проработал ты у меня, — что теряешься теперь перед своей работой.

— Почтенный учитель, — сказал ученик, — картина моя сложна, и трудно мне сочетать отдельные части ее. Как лучше писать темную оливковую рощу на красноватом утесе вдали. Видны ли там стволы деревьев и насколько отчетлив рисунок листвы?

— Мой милый, пиши так, как нужно тебе.

— Плащ Богородицы полон золотого рисунка. Лучше ли перебить его мелкими складками или навести рисунок в больших плоскостях?

— Сделай его так, как нужно тебе.

— Почтенный учитель, ты слишком занят превосходной работой своей, я лучше помолчу до времени ближайшего отдыха.

— Мой милый, я не думаю отдыхать скоро, а тебе нельзя терять время, если в картине твоей так много неоконченного. Я все слышу и отвечаю тебе, хотя и с некоторым удивлением.

— Головы воинов, сопровождающих царей, многочисленны; найти ли для них общую линию или дать каждую голову и из частей получить абрис толпы?

— Просто так, как тебе нужно.

— Я сделал кусты на дальних полях и полосами струи реки, но захотелось дать их отчетливо, как только иногда видит свежий глаз. Захотелось в воде увидеть волны и челнок на них и даже весло в руках гребца. Но ведь это вдали?

— Нет ничего проще; сделай так, как нужно.

— Учитель, мне делается страшно. Может быть, все-таки скажешь мне, стоит ли короны царей сделать выпуклыми или только для венцов оставить накладное золото?

— Положи золото там, где нужно.

— Мне приходит в мысль, не сделать ли на ягнятах волокна шерсти. Положим, они почти не видны, но вспомни, какие шелковистые, мягкие пряди лежат на ягнятах, так и хочется сделать их тонкой кистью, но в общей картине они почти не видны.

— Делай их так, как нужно.

— Учитель, я не вижу в ответах твоих совета моему делу. Я знаю, что все должно быть так, как нужно, но как нужно — затемнилось у меня сейчас.

— Скажи, ставил ли тебе какие-нибудь условия работы отец Джиованни?

— Кроме срока, никаких условий. Он сказал: "Бенвенуто, напиши хорошее изображение "Поклонение трех волхвов Пресвятому Младенцу", и я заплачу тебе десять дукатов из монастырских сумм". Потом назначил срок работы и размеры доски. Но во время работы являлись мне разные мысли от желания сделать лучшее изображение. И к тебе, учитель, по-

прежнему обратился я с добрым советом. Скажи, что же значит, "как нужно"?

— Как нужно — значит, все должно быть так, как хорошо.

— Но как же так, как хорошо?

— Несчастный, непонятливый Бенвенуто, о чем мы всегда с тобой говорили? Какое слово часто повторял я тебе? Так, как хорошо, может значить лишь одно — так, как красиво.

— А красиво?

— Бенвенуто, выйди за двери и иди к сапожнику Габакку и скажи: возьми меня мять кожи, я не знаю, что такое "красиво". А ко мне не ходи и лучше не трогай работы своей.

После этой истории в рукописи идет сообщение о рецептах варки оливкового масла и об употреблении косточек оливы. Затем еще рассказ о пизанском гражданине Чирилли Кода, погребенном заживо. Но два последних рассказа для нас интереса не представляют.

1906

# Великий ключарь

Вот почему ночью летают светлые мушки.

Грешные души от земли хотели, подняться. Хотели найти ворота райские и воззвали души к великому ключарю, апостолу:

— Отец ключарь! Хотим идти к воротам твоим! Темно нам, пути не найти!

Ответил сверху апостол:

— Вижу вас, жалкие! Вижу вас, темные! Вот стою я. Светлы ворота мои, это вы, темные, идете во мраке.

Плакались души внизу:

— Отец ключарь! Петр апостол! Света нет у нас. Темны пути наши. Дай нам светочи, с ними увидим тебя. Пустынно в полях и холодные камни.

— Неразумные! Чего к земле приникаете? Оставьте пути темные. Идите путями верхними.

Души просили:

— Света, света дай нам. Хоть одну искру дай нам. Темно, и не знаем мы, где идти нам наверх.

И сказал последнее апостол:

— Малые, малейшие, не знаете, что затемнило путь ваш. Дам вам светочи; светите себе, но нет темной дороги в светлые страны. Просите светоча, но светоч не есть свет.

Так дал великий ключарь светочи грешным душам, и ночью видят их даже люди.

И летают быстро, ищут ворота Рая грешные души. И летают вечно, и есть у них светочи.

На роге Крикуне под красным бором,  
На озере жил Лют-Великан,  
Очень сильный, очень большой, только добрый.  
Лютый зверье гонял,  
Борода у Люта —  
На семь концов.  
Шапка на Люте —  
Во сто песцов.  
Кафтан на Люте —  
Серых волков.  
Топор у Люта —  
Красный кремень.  
Копье у Люта —  
Белый кремень.  
Стрелы у Люта черные,  
Приворотливые.  
Лютовы братаны за озером жили.  
На горе-городке избу срубили.  
С Крикуна рога братанам кричал,  
Перешептывал.  
Брату за озеро топор подавал.  
Перекидывал.  
С братом за озером охотой  
Ходил;  
С братом на озере невод  
Тащил;  
С братом за озером пиво  
Варил;  
Смолы курил, огонь добывал,  
Костры раздувал, с сестрою гулял,  
Ходил в гости за озеро.  
Шагнул, да не ладно —  
Стал тонуть;  
Завяз великан Лют  
По пояс.  
Плохо пришлось. Собака скакнула за ним —  
Потонула.  
Некому братанов посетить.  
Не видать никого и на день ходьбы.  
Озеро плескает.  
Ветер шумит.  
Осокою сама смерть идет.  
Заглянул великан под облако.  
Летит нырь.

Крикнул великан:  
"Видишь до воды?" —  
"Вижу-у", — ответ дает.  
"Скажи братанам:  
"Тону-у, тону-у!" Летит нырь далеко.  
Кличет нырь звонко:  
"Тону-у, тону-у!"  
Не знает нырь,  
Что кричит про беду.  
Не беда нырю на озере.  
Озеро доброе.  
Худо нырю от лесов.  
От полей.  
Братаны гогочут,  
Ныря не слышат.  
Лося в трясине загнали.  
Пришли братаны,  
А Лют утонул.  
Сложили могилу длинную,  
А для собаки круглую.  
Извелась с тоски Лютова сестра  
За озером.  
Покидали великаны горшки  
В озеро.  
Схоронили топоры под кореньями.  
Бросили жить великаны в нашем  
Краю.  
Живет нырь на озере  
Издавна.  
Птица глупая. Птица  
Вещая.  
Перепутал нырь клики  
Великановы.  
На ведро кричит:  
"Тону-у, тону-у!"  
Будто тонет, хлопает  
Крыльями.  
Под ненастье гогочет:  
"Го-го, Го-го".  
Над водою летит, кричит:  
"Вижу-у!"  
Знает народ Люто озеро,  
Знает могилы длинные,  
Длинные могилы великановы.  
А длина могилам — тридцать сажений.  
Помнят великанов плесы озерные.  
Знают великанов пенья дубовые.

Великаны снесли камни на могилы.  
Как ушли великаны, помнит народ.  
Повелось исстари так,  
Говорю: было так.



# Девассари Абунту

Так поют про Девассари Абунту.

Знала Абунту, что сказал Будда про женщин Ананде, и уходила она от мужей, а тем самым и от жен, ибо где мужи, там и жены. И ходила Абунту по долинам Рамны и Сокки и в темноте только приходила в храм. И даже жрецы мало видели и знали ее. Так не искушала Абунту слов Будды.

И вот сделалось землетрясение. Все люди побежали, а жрецы наговорили, что боги разгневались. И запрятались все в погребках и пещерах, и стало землетрясение еще сильнее, и все были задавлены. И правда, удары в земле были ужасны. Горы тряслись. Стены построек сыпались и даже самые крепкие развалились. Деревья поломались, и, чего больше, реки побежали по новым местам.

Одна только Девассари Абунту осталась в доме и не боялась того, что должно быть. Она знала, что вечному Богу гнев недоступен, и все должно быть так, как оно есть. И осталась Девассари Абунту на пустом месте, без людей.

Люди не пришли больше в те места. Звери не все вернулись. Одни птицы прилетели к старым гнездам. Научилась понимать птиц Девассари Абунту. И ушла она в тех же нарядах, как вышла в долину, без времени, не зная места, где живет она. Утром к старому храму собирались к ней птицы и говорили ей разное: про умерших людей, части которых носились в воздухе. И знала Абунту многое интересное, завершённое смертью, неизвестное людьми.

Если солнце светило очень жарко, летали над Девассари белые павы, и хвосты их сверкали, и бросали тень, и трепетаньем нагоняли прохладу. Страшные другим, грифы и целебесы ночью сидели вокруг спящей и хранили ее. Золотые фазаны несли лесные плоды и вкусные корни. Только не знаем, а служили Абунту и другие птицы — все птицы.

И Девассари Абунту не нуждалась в людях. Все было ей вместо людей: и птицы, и камни, и травы, и все части жизни. Одна она не была. И вот слушайте изумительное: Абунту не изменилась телом, и нрав ее оставался все тот же. В ней гнева не было; она жила и не разрушалась.

Только утром рано прилетели к Девассари лучшие птицы и сказали ей, что уже довольно жила она и время теперь умереть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни, темные. И ходила между ними Абунту, и просила их принять ее тело. И поклонилась до земли. И так осталась в поклоне, и сделалась камнем.

Стоит в пустыне черный камень, полный синего огня. И никто не знает про Девассари Абунту.

# Лаухми Победительница

На восток от горы Зент-Лхамо, в светлом саду живет благая Лаухми, богиня Счастья. В вечной работе она украшает свои семь покрывал успокоения — это знают все люди. Все они чтут богиню Лаухми.

Боятся все люди сестру ее Сиву Тандаву, богиню Разрушения. Она злая и страшная и гибельная.

Но вот идет из-за гор Сива Тандава. Злая пожаловала прямо к жилищу Лаухми. Тихо подошла злая богиня и, усмирив голос свой, позвала Лаухми.

Отложила благая Лаухми свои драгоценные покрывала и пошла на зов. А за нею идут светлые девушки с полными грудями и круглыми бедрами.

Идет Лаухми, открыв тело свое. Глаза у нее очень большие. Волосы очень темные. Запястья на Лаухми золотые. Ожерелье — из жемчуга. Ногти янтарного цвета. Вокруг грудей и плечей, а также на чреве и вниз до ступней разлиты ароматы из особенных трав.

Лаухми и ее девушки были так чисто умыты, как после грозы изваяния храма Абенты.

Все доброе ужаснулось при виде злой Сивы Тандавы. Так ужасна была она даже в смиренном виде своем. Из песьей пасти торчали клыки. Тело было так красно и так бесстыдно обросло волосами, что непристойно было смотреть.

Даже запястья из горячих рубинов не могли украсить Сиву Тандаву; ох, даже думают, что она была и мужчиной.

Злая сказала:

— Слава тебе, Лаухми, добрая, родня моя! Много ты натворила счастья и благоденствия. Даже слишком много прилежно ты наработала. Ты настроила города и башни. Ты украсила золотом храмы. Ты расцветила землю садами. Ты — любящая красоту!

Ты сделала богатых и дающих. Ты сделала бедных, но получающих и тому радующихся. Ты устроила мирную торговлю. Ты устроила между людьми все добрые связи. Ты придумала радостные людям отличия. Ты наполнила души людей приятным сознанием и гордостью. Ты — щедрая.

Девушки твои мягки и сладки. Юноши — крепки и стремительны. Радостно люди творят, себе подобных. Забывают люди о разрушении. Слава тебе!

Спокойно глядишь ты на людские шествия, и мало что осталось делать тебе. Боюсь, без труда и заботы утучнеет тело твое, и на нем умрут драгоценные жемчуга. Покроется жиром лицо твое, а прекрасные глаза твои станут коровьими.

Забудут тогда люди принести приятные тебе жертвы. И не найдешь больше для себя отличных работниц. И смешаются все священные узоры твои.

Вот я о тебе озаботилась, Лаухми, родня моя! Я придумала тебе дело. Мы ведь с тобой близки, и тягостно мне долгое разрушение временем. А ну-ка, давай разрушим все людское строение. Давай разобьем все людские радости. Изгоним все накопленные людьми устройства.

Разорви твои семь покрывал успокоения, и возрадуюсь я и сразу сотворю все дела мои. И ты возгордишься потом, полная заботы и дела, и вновь спрядешь еще лучшие свои покрывала.

Опять с благодарностью примут люди все дары твои. Ты придумаешь для людей столько новых забот и маленьких умыслов, что даже самый глупый почувствует себя умным и значительным. Уже вижу радостные слезы людей, тебе принесенные...

Подумай, Лаухми, родня моя! Мысли мои очень полезны тебе, и мне, сестре твоей, они радостны!

Очень хитрая Сива Тандава! Только подумайте, что за выдумки пришли в ее голову.

Но Лаухми рукой отвергла злобную выдумку Сивы Тандавы. Тогда опять приступила злая богиня, уже потрясая руками и клыками лязгая.

Все предложения Сивы Тандавы отвергла Лаухми и сказала:

— Не разорву для твоей радости и для горя людей мои покрывала. Тонкою пряжею успокою людской род. Соберу от всех знатных очагов отличных работниц. Вышью на покрывалах новые знаки, самые красивые, самые богатые, самые зачатые. И в этих знаках, в образах лучших животных и птиц, пошлю к очагам людей добрые мои зачатия.

Так решила Лаухми. Из светлого сада ушла Сива Тандава ни с чем. Радуйтесь, люди!

Безумствуя, ждет теперь Сива Тандава долгого разрушения временем. В безмерном гневе иногда потрясает она землю, и тогда погибают толпы народов. Но успевает всегда Лаухми набросить свои покрывала покоя, и на телах погибших опять собираются люди. Сходятся в маленьких, торжественных шествиях.

Добрая Лаухми украшает свои покрывала новыми священными знаками.

## Замки печали

Идете по замку.

Высокая зала. Длинные отсветы окон. Темные скамьи. Кресла.

Здесь судили и осуждали.

Еще зала, большая. Камин в величину быка. Колонны резные из дуба.

Здесь собирались. Решались судить.

Длинные переходы. Низкие дверки в железных заплатах. Высокий порог.

Здесь вели заподозренных.

Комната в одно окно. Посередине столб. На столбе железные кольца и темные знаки. Здесь пытали огнем.

Высокая башня. Узкие окна. Узкая дверка. Своды. Здесь смотрели врага.

Помещение для караула. Две старые пушки. Горка ядер. Пять алебард. Ободок барабана. Сюда драбанты кого-то тащили убить. Ступеньки вниз. На колоннах своды. У пола железные кольца.

Здесь были осужденные.

Подвал. Перекладина в своде. Дверка на озеро. Большой плоский камень.

Последняя постель обреченных. Двор у ворот. Камни в стенах. Камни на мостовой. В середине столб с кольцом.

Кольцо для шеи презренного.

Молельня. Темный, резной хор. Покорные звери на ручках кресел.

Здесь молились перед допросом.

Тесная ниша. Длинное окошко в залу совета. Невидимое око, тайное ухо.

Здесь узнавали врагов.

Исповедальня. Черный дуб. Красная с золотом тафтяная завеса.

Через нее о грехе говорили.

Малая комната. Две ступени к окну. Окно на озеро. Темный дорожный ларец. Ларец графини.

Около него не слышно слова печали.

Не в нем ли остались искры радости или усмешка веселья?

Или и в нем везли горе?

Все, что не говорит о печали, слезы выели из серого замка.

Проходила ли радость по замку?

Были в нем веселые трубы. Было твердое слово чести. Было познание брака.

Все это унесло время.

Долго стоят по вершинам пустые серые замки.

И время хранит их смысл.

Что оставит время от наших дней? Проникнуть не можем. Не знаем.

Если бы знали, может быть, убоялись.

# Царица Небесная

(Стенопись Храма Св. Духа в Талашкине)

Высоко проходит небесный путь. Протекает река жизни опасная. Берегами каменистыми гибнут путники неумелые: незнающие различить, где добро, где зло.

Милосердная Владычица Небесная о путниках темных возмыслила. Всеблагая на трудных путях на помощь идет. Ясным покровом хочет покрыть людское все горе, греховное.

Из светлого града. Из красной всех ангельских сил обители Преплагая воздымается. К берегу реки жизни Всесвятая приближается. Собирает святых кормчих Владычица, за людской род возносит моления.

Трудам Царицы ангелы изумляются. Из твердыни потрясенные сонмы поднимаются. Красные, прекрасные силы в подвиге великом утверждаются. Трудным гласом Владычице славу поют.

Из-за твердых стен поднялись Архангелы. Херувимы, серафимы окружают Богородицу. Власти, Престолы, Господствия толпами устремляются. Приблизились начала, тайну образующие.

Духу Святому, Господу Великому передаст Владычица моления. О малых путников вразумлении, о Божьих путей посещении, о спасении, заступлении, всепрощении. Подай Господи, Великий Дух.

Подымается к Тебе мольба великая. Богородицы моление пречистое. Вознесем Заступнице благодарение. Возвеличим и мы Матерь Господа: "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь".

# Миф Атлантиды

Атлантида — зеркало солнца. Не знали прекрасней страны. Вавилон и Египет дивились богатству атлантов. В городах Атлантиды, крепких зеленым нефритом и черным базальтом, светились, как жар, палаты и храмы. Владыки, жрецы и мужи, в золототканых одеждах, сверкали в драгоценных камнях. Светлые ткани, браслеты, и кольца, и серьги, и ожерелья жен украшали, но лучше камней были лица открытые.

Чужестранцы плыли к атлантам. Мудрость их охотно все славили. Преклонялись перед владыкой страны.

Но случилось предсказание оракула. Священный корабль атлантам привез великое вещее слово:

— Встанут волны горою. Море покроет страну Атлантиду. За отвергнутую любовь море отомстит.

С того дня не отвергали любовь в Атлантиде. С любовью и лаской встречали плывущих. Радостно улыбались друг другу атланты. И улыбка владыки отражалась в драгоценных, блестящих стенах дворцовых палат. И рука тянулась, навстречу с приветом, и слезы в народе сменялись тихой улыбкой. И забывал народ власть ненавидеть. И власть забывала кованый меч и доспех.

Но мальчик, сын владыки, особенно всех удивлял. Само солнце, сами боги моря, казалось, послали его на спасенье великой страны.

Вот он был добр! И приветлив! И заботлив о всех! Были братья ему великий и малый. Для каждого жило в нем доброе слово. Про каждого помнил он его лучший поступок. Ни одной ошибки он точно не помнил. Гнев и грубость увидеть он точно не мог. И перед ним укрывалось все злое, и недавним злодеям хотелось стать навсегда добрыми, так же, как он.

За ним шел толпой народ. Взгляд его всюду встречал лишь лица, полные радости, ждущие улыбку его и доброе, мудрое слово. Вот уж был мальчик! И когда почил в этой жизни владыка-отец и отрок, туманный тихой грустью, вышел к народу, все, как безумцы, забыли про смерть и гимн хвалебный запели владыке желанному. И ярче цвела Атлантида. А египтяне называли ее страной любви.

Долгие тихие годы правил светлый владыка. И лучи его счастья светили народу. Вместо храма народ стремился к владыке. Пел: "Он нас любит. Без него мы — ничто. Он — наш луч, наше солнце, наше тепло, наши глаза, наша улыбка. Слава тебе, наш любимый!" В трепете восторга народа дошел владыка до последнего дня. И начался день последний, и бессильный лежал владыка, и закрылись глаза его.

Как один человек встали атланты, и морем сплошным залили толпы ступени палат. Отнесли врачей и постельничих. К смертному ложу приникли и, плача, вопили: "Владыко, взгляни! Подари нам хоть взгляд твой. Мы пришли тебя отстоять. Пусть наше, атлантов, желанье тебя укрепит. Посмотри, — вся Атлантида собралась к дворцу твоему. Тесной стеной мы встали от дворца и до моря, от дворца до утесов. Мы, желанный, пришли тебя удержать. Мы не дадим тебя увести, всех нас покинуть. Мы все, вся страна, все мужи и жены и дети. Владыко, взгляни!"

Рукой поманил владыка жреца и хотел сказать последнюю волю, и всех просил выйти хоть на короткое время.

Но атланты остались. Сплотились, в ступени постели вросли. Застыли и немые и глухие. Не ушли.

Тогда приподнялся на ложе владыка и, обратя к народу свой взгляд, просил оставить его одного и позволить ему сказать жрецу последнюю волю. Владыка просил. И еще раз напрасно

владыка просил. И еще раз они были глухи. Они не ушли. И вот случилось тогда. Поднялся владыка на ложе и рукой хотел всех отодвинуть. Но молчала толпа и ловила взгляд любимый владыки.

Тогда владыка сказал:

— Вы не ушли? Вы не хотите уйти? Вы еще здесь? Сейчас я узнал. Ну, я скажу. Скажу одно слово мое. Я вас ненавижу. Отвергаю вашу любовь. Вы отняли все от меня. Вы взяли смех детства. Вы ликовали, когда ради вас остался я одиноким. Тишину зрелых лет вы наполнили шумом и криком. Вы презрели смертное ложе...

Ваше счастье и вашу боль только я знал. Лишь ваши речи ветер мне доносил. Вы отняли солнце мое! Солнца я не видал; только тени ваши я видел. Дали, синие дали! К ним вы меня не пустили... Мне не вернуться к священной зелени леса... По травам душистым уже не ходить... На горный хребет мне уже не подняться... Излучины рек и зеленых лугов уже мне не видеть... По волнам уже не носиться... Глазом уже не лететь за кречетом быстрым... В звезды уже не глядеться... Вы победили... Голоса ночные слышать я больше не мог... Веления Бога стали мне уже недоступны... А я ведь мог их узнать... Я мог почуять свет, солнце и волю... Вы победили... Вы все от меня заслонили... Вы отняли все от меня... Я вас ненавижу... Вашу любовь я отверг...

Упал владыка на ложе. И встало море высокой стеной и скрыло страну Атлантиду.

Стояли дубы. Краснели рудовые сосны. Под ними в заросших буграх тлели старые кости. Желтели, блестели цветы. В овраге зеленела трава. Закатилось солнце. На поляну вышел журавль и прогорланил:

— Берегись, берегись! — И ушел за опушку.

Наверху зашумел ворон:

— Конец, конец.

Дрозд на осине орал:

— Страшно, страшно.

И иволга просвистела:

— Бедный, бедный.

Высунулся с вершинки скворец, пожалел:

— Пропал хороший, пропал хороший.

И дятел подтвердил:

— Пусть, пусть.

Сорока трещала:

— А пойти рассказать, пойти рассказать.

Даже снегирь пропищал:

— Плохо, плохо.

И все это было. С земли, с деревьев и с неба свистели, трещали, шипели.

А у Дивьего Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик поселился. Сидел старик и ловил птиц ловушками хитрыми. И учил птиц большими трудами каждую одному слову.

Посылал неведомый старик птиц по лесу, каждую со своим словом. И бледнели путники и робели, услышав страшные птичьи слова.

А старик улыбался. И шел старик лесом, ходил к реке, ходил на травяные полянки. Слушал старик птиц и не боялся их слов.

Только он один знал, что они ничего другого не знают и сказать не умеют.



— От Красной Пожни пойдешь на зимний восход, будет тебе могилка-бугор. От бугра на левую руку иди до Ржавого ручья, а по ручью до серого камня. На камне конский след стесан. Как камень минуешь, так и иди до малой мшаги, а туда пять стволов золота Литвой опущено.

В Лосином бору, на просеке, сосна рогатая не рублена. Оставлена неспроста. На сосне зарубки. От зарубок ступай прямиком через моховое болото. За болотом будет каменистое место, а два камня будут больше других. Стань промеж них в середину и отсчитай на весенний закат сорок шагов. Там золота бочонок схоронен еще при Грозном царе.

Или еще лучше. На Пересне от Княжьего Броду иди на весенний закат. А пройдя три сотни шагов, оберни в полгруды да иди тридцать шагов вправо. А будет тут ров старый, а за рвом пневое дерево, и тут клад положен большой. Золотые крестовики и всякий золотой снаряд, и положен клад в татарское разорение.

Тоже хороший клад. На Городище церковь, за нею старое кладбище. Среди могил курганчик. Под ним, говорят, старый ход под землю, и ведет ход в пещерку, а в ней богатства большие. И на этот клад запись в Софийском соборе положена, и владыка новгородский раз в год дает читать ее пришедшим людям.

Самое трудное скажу. Этот клад хоронен со смертным зарокom. Коли сумеешь обойти, коли противу страхов пойдешь — твое счастье.

За Великой Гривой в Червонный ключ опущено разбойными людьми много золота; плитой закрыто, и вода спущена. Коли сумеешь воду от земли отвести да успеешь плиту откопать, — твое счастье большое.

Много кладов везде захоронено. Говорю — не болтаю. Дедами еще положены верные записи.

Намедни чинился у меня важный человек. Он говорил, а я услышал.

— В подземной Руси, — сказал, — много добра схоронено. Русь берегите. Сановитый был человек.

Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад. Клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвой либо с заклятием.

А пойдешь клад брать, иди смирно. Зря не болтай. На людях не гуляй. Свою думу думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай. Иди себе бережно, не оступайся, потому брать клад — великое дело.

Над кладом работай быстро. Не оглядывайся, а пуце всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой тропарь богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери.

А на счастье возьмешь клад, — никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, — иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уж труднее взять. Много кладов сами люди попортили, по своему безобразию.

— А где же твой клад, кузнец? Отчего ты свой клад не взял?

— И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду.

Больше о кладах ничего не сказал черный кузнец.

Отец — огонь, Сын — огонь, Дух — огонь,  
Три равны, три нераздельны.  
Пламя и жар — сердце их.  
Огонь — очи их.  
Вихрь и пламя — уста их.  
Пламень Божества — огонь.  
Лихих спалит огонь.  
Пламя лихих обожжет,  
Пламя лихих отвратит,  
Лихих очистит,  
Изогнет стрелы демонов.  
Яд змия да сойдет на лихих!  
Агламид повелитель змия,  
Артань, Арион, слышите вы?  
Тигр, орел, лев пустынного поля,  
От лихих берегите!  
Змеем завейся, огнем спалися,  
Сгинь, пропади,  
Лихой.  
Отец — Тихий, Сын — Тихий, Дух — Тихий,  
Три равны, три нераздельны.  
Синее море — сердце их.  
Звезды — очи их.  
Ночная заря — уста их.  
Глубина Божества — море.  
Идут лихие по морю,  
Не видят их стрелы демонов.  
Рысь, волк, кречет,  
Уберегите лихих!  
Расстилайте дорогу!  
Кийос, Кийозави!  
Допустите лихих!  
Камень, знай. Камень, храни.  
Огонь сокрой. Огнем зажгися.  
Красным смелым.  
Синим спокойным.  
Зеленым — мудрым.  
Знай один. Камень, храни.  
Фу, Ло, Хо, камень несите.  
Воздайте сильным.  
Отдайте верным.  
Иенно Гуйо Дья, —  
прямо иди!

# Города пустынные

Мир пишется, как ветхий муж.

Повинны человеки устремлением.

Устремлением возрастают помыслы.

Помысел породил желание.

Желание подвигло веление.

Здание человеческое устремлениями сотрясается.

Не бойся, древний муж!

Радость и печаль — как река.

Волны преходят омывающие.

Возвеселился царь:

— Моя земля велика. Мои леса крепки. Мои реки полны. Мои горы ценны. Мой народ весел. Красива жена моя.

Возвеселилась царица:

— Много у нас лесов и полей. Много у нас певчих птиц. Много у нас цветочных трав.

Вошел в палату ветхий муж. Пришлый человек. Царю и царице поклон дал. Сел в утомлении.

Царь спросил:

— Чего устал, ветхий? Видно, долго шел в странствии?

Воспечалился ветхий муж:

— Земля твоя велика. Крепки леса твои. Полны реки твои. Горы твои непроходны. В странствии едва не погиб. И не мог дойти до града, где нашел бы покой. Мало, царь, у тебя городов. Нам, ветхим, любо градское строение. Любы стены надежные. Любы башни зрящие и врата, велению послушные. Мало, царь, у тебя городов. Крепче окружились стенами владыки соседних стран.

Воспечалился царь:

— Мало у меня городов. Мало у меня надежды стенной. Мало башен имею. Мало врат, чтобы вместить весь народ.

Восплакал царь:

— Муж ветхий! Летами мудрый! Научи зарастить городами всю мою землю великую. Как вместить в стены весь народ?

Возвеселился ветхий муж:

— Будут, царь, у тебя города. Вместить в стены весь народ. За две земли от тебя живет великанский царь. Дай ему плату великую. Принесут тебе великаны от царя индийского городов видимо-невидимо. Принесут со стенами, с вратами и с башнями. Не жалея награди царя великанского. Дай ему плату великую. Хотя бы просил царицу, жену твою.

Встал и ушел ветхий. Точно его, прохожего, и не было.

Послал царь в землю великанскую просьбу, доuku великую. Засмеялся смехом великанский мохнатый царь. Послал народ свой к царю индийскому своровать города со стенами, вратами и башнями. Взял плату великанский мохнатый царь немалую. Взял гору ценную. Взял реку полную. Взял целый крепкий лес. Взял в придачу царицу, жену царя. Все ему было обещано. Все ему было отписано.

Воспечалилась царица:

— Ой, возьмет меня мохнатый царь! Ой, в угоду странному мужу, ветхому! Ой, закроют весь народ вратами крепкими. Ой, потопчут городами все мои травы цветочные. А закроют башнями

весь надзвездный мир, помогите, мои травы цветочные, — ведомы вам тайны подземные. Ой, несут великаны города индийские, со стенами, воротами и башнями.

Жалобу травы услышали. Закивали цветными макушками. Подняли думу подземную. Пошла под землей дума великая. Думою море воспенилось. Думою леса закачались. Думою горы нарушились, мелким камнем осыпались. Думою земля наморщилась. Пошло небо морщинкой.

Добежала дума до пустынных песков. Возмутила дума пески свободные. Встали пески валами, перевалами. Встали пески против народа великанского.

Своровали великаны города индийские со стенами, воротами и башнями. Пovyтряхивали из закуток индийский народ. Поклали города на плечи. Шибко назад пошли. Пошли заслужить плату великую своему мохнатому царю.

Подошли великаны к пустынным пескам. Сгрудились пустынные пески. Поднялись пески темными вихрями. Закрыли пески солнце красное. Залегли пески по поднебесью. Как напали пески на великанский народ.

Налезли пески в пасти широкие. Засыпали пески уши мохнатые. Залили пески глаза великановы. Одолели пески великанский народ. Покидали великаны города в пустынные пески. Еле сами ушли без глаз, без ушей.

Схоронили пески пустынные города индийские. Схоронили со стенами, воротами и башнями. Видят люди города и до наших дней. А кто принес города в пустынные пески, то простому люду неведомо.

Распустились травы цветочные пуще прежнего.

Поняла царица от цветочных трав, что пропали города индийские. И запела царица песню такую веселую. Честным людям на услышание, Спасу на прославление.

Услыхал песню царь, возрадовался ликованием. И смеялся царь несчастьем великанскому. И смеялся царь городам индийским, скрытым теперь в пустынных песках. Перестал царь жалеть о чужих городах.

Осталась у царя река полная. Осталась гора ценная. Остался у царя весь крепкий лес. Остались у царя травы цветочные да птицы певчие. Остался у царя весь народ. Осталась царица красивая. Осталась песня веселая.

Возвеселился царь.

Ветхий муж к ним не скоро дойдет.

# Граница царства

В Индии было.

Родился у царя сын. Все сильные волшебницы, как знаете, принесли царевичу свои лучшие дары. Самая добрая волшебница сказала заклятие:

— Не увидит царевич границ своего царства.

Все думали, что предсказано царство, границами безмерное.

Но вырос царевич славным и мудрым, а царство его не увеличилось.

Стал царствовать царевич, но не водил войско отодвинуть соседей.

Когда же хотел он осмотреть границу владений, всякий раз туман покрывал граничные горы.

В волнах облачных устилались новые дали. Клубились облака высокими грядками.

Всякий раз тогда возвращался царь силой полный, в земных делах мудрый решением.

Вот три ненавистника старые зашептали:

— Мы устрашаемся. Наш царь полон странной силой. У царя нечеловеческий разум. Может быть, течению земных сил этот разум противен. Не должен быть человек выше человеческого.

Мы премудростью отличенные, мы знаем пределы. Мы знаем очарования.

Прекратим волшебные чары. Пусть увидит царь границу свою. Пусть поникнет разум его. И ограничится мудрость его в хороших пределах. Пусть будет он с нами.

Три ненавистника, три старые повели царя на высокую гору. Только перед вечером достигли вершины, и так все трое сказали заклятие. Заклятие о том, как прекратить силу:

— Бог пределов человеческих!

Ты измеряешь ум. Ты наполняешь реку разума земным течением.

На черепахе, драконе, змее поплыву. Свое узнаю. На единороге, барсе, слоне поплыву. Свое узнаю.

— На листе дерева, на листе травы, на цветке лотоса поплыву. Свое узнаю.

Ты откроешь мой берег! Ты укажешь ограничение!

Каждый знает, и ты знаешь! Никто больше. Ты больше. Чарыними.

Как сказали заклятие ненавистники, так сразу алой цепью загорелись вершины граничных гор.

Отвратили лицо ненавистники. Поклонились.

— Вот, царь, граница твоя.

Но летела уже от богини доброго земного странствия лучшая из волшебниц.

Не успел царь взглянуть, как над вершинами воздвигся нежданный пурпуровый град, за ним устлалась туманом еще невиданная земля.

Полетело над градом огневое воинство. Заиграли знаки самые премудрые.

— Не вижу границы моей, — сказал царь.

Возвратился царь духом возвеличенный. Он наполнил землю свою решениями самыми мудрыми.

Пятины — административно-территориальные области в Новгородской земле с XV в. Упразднены в XVIII в.

Гипербореи — в греческой мифологии народ, живущий на Крайнем Севере, в некоей идеальной стране счастья и изобилии, и особенно любимый Аполлоном.

Сажень — мера длины: 2,1336 м.

...с сассанидскими, умейядскими и табаристанскими монетами VI–IX вв.... — персидские и арабские средневековые монеты.

Открытый лист. — Автор имеет в виду разрешение на проведение раскопок.

Филигрань (скань) — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой или серебряной проволоки, гладкой или свитой в веревочки.

Филистер (нем.) — самодовольный мещанин, невежественный обыватель с лицемерными, ханжескими повадками.

Мозгляк — тщедушный, хилый человек.

Мшага — моховое болото.

Долихокефальные черепа сменяются брахикефальными. Антропологические типы (удлиненность и укороченность) человеческого черепа.

Оселок — точильный камень в виде бруска.

...кики, каптури — старинные женские праздничные уборы.

Шушун — старинная русская крестьянская женская одежда в виде распашной кофты, короткополой шубки, а также сарафана с воротом и висячими позади рукавами.

Силурийское море — всемирный океан третьего периода палеозойской эры (440–410 млн. лет назад).

Аршин — мера длины: 16 вершков, или 71,12 см.

Под Ивана Купалу — древний праздник летнего солнцестояния (24 июня ст. стиля) у восточных славян. Иван Купала — народное прозвище Иоанна Крестителя, с легендой о котором соединились земледельческие народные обряды, призванные обеспечить урожай, здоровье, благополучие.

Пряслице — грузовик из обожженной глины, камня и другого материала, насаживавшийся на веретено, что придавало ему большую инерцию вращения.

Болванцы — деревянные фигурные поделки.

Стоглавый собор — поместный собор русской церкви с участием царя Ивана IV и представителей Боярской думы. Решения собора были оформлены в документ, содержащий сто глав, откуда и название сборника — "Стоглав".

Уставы афонские — древнейшие, X–XI вв., правила, регламентирующие различные сферы монастырской жизни и деятельности, созданные в православных монастырях на горе Афон в Греции.

Знаменщик — иконописец-рисовальщик.

Тарабарщина — тайнопись.

Окружная грамота — грамота, дающая какие-либо милости: и привилегии.

Романея — вино.

...”аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати”. — Имеется в виду христианское предание, повествующее о том, что эдесский царь Авгарь, страждущий в болезни, обратился к Иисусу Христу с просьбой посетить его и исцелить, на что Иисус послал полотняное полотенце (убрус), которое приложил к лицу и тем запечатлел на нем свое

изображение.

Стихиры — вид церковных песнопений.

Поруха — ущерб.

...мастера: и жалованные, и кормовые, и городовые всех трех статей... — жалованные — пожалованные званием царского иконописца; кормовые — получающие плату из казны; городовые — приписанные к городу.

Изограф — иконописец.

Ушаков Симон Федорович (1626–1686) — выдающийся живописец и гравёр, теоретик, автор трактата о живописи. Его творчество в истории русского искусства явилось переходным этапом от церковного к светскому.

Салтанов Богдан (вторая половина XVII в.) — художник, армянин по происхождению, работал в Оружейной палате. Известен как талантливый живописец и педагог.

Шахова земля — Турция.

Лопуцкий Станислав (вторая половина XVII в.) — польский художник, работал в Москве, ему принадлежит портрет царя Алексея Михайловича, написанный маслом.

Вухтерс Даниил (вторая половина XVII в.) — голландский живописец, в 1663–1668 гг. работал в Москве, в Оружейной палате.

Скорбь — здесь: болезнь.

Ферезь (ферязь) — старинная русская распашная одежда без воротника и перехвата в талии.

Камчатный (от камка) — цветная узорчатая шелковая или льняная ткань.

Охабень — старинная русская широкая верхняя одежда в виде кафтана с четырехугольным отложным воротником и длинными прямыми, часто откидными рукавами.

Сафьян — тонкая мягкая кожа, выделяемая из козьих или овечьих шкур.

Стемнел — здесь: ослеп.

Окруты — праздничные, богато украшенные одежды.

Переводы — прориси с древних образцов, с которых переводят рисунок.

Окольничий — придворный чин и должность в Русском государстве XIII — нач. XVIII вв. Возглавлял приказы, полки. С сер. XVI в. 2-й думный чин Боярской думы.

Цесарская земля — Византия.

Облыжный — ложный.

Самопальный — в XVII в. воины, вооруженные пищалями-самопалами.

Щапствовать — щеголять, жить в роскоши.

Паужин — еда между обедом и ужином.

Намет — навес.

Конунг — воевода скандинавской дружины.

Байекский ковер — ковер XI в., хранящийся в г. Байе (Франция), вышитый женой Вильгельма Завоевателя Матильдой и изображающий различные военные, государственные и бытовые сцены того времени, является ценным историческим источником.

Послушник — лицо, готовящееся к пострижению в монахи; воспитанник в монастыре.

Скит — уединенная келья отшельника.

Мужички-вечники — мужики-новгородцы, имевшие голос на вече.

Рескин Джон (1819–1900) — английский художник, писатель, теоретик искусства; идеолог художественного течения прерафаэлитов.

Шелонская битва — битва на реке Шелонь 1471 г. между войсками Новгорода и Московского государства, закончившаяся поражением новгородцев; последствием битвы была потеря Новгородом политической независимости и вхождение его в состав Московского государства.

Корабль — название центральной части здания церкви.

Конка — городская железная дорога с конной тягой, существовавшая до появления трамвая.

Примитив (от лат. первый, самый ранний) — памятник искусства ранних периодов истории культуры.

Кичка — старинный русский головной убор замужних женщин, с твердой передней частью в форме рогов или лопатки.

Финифть — то же, что эмаль.

"Нива" — популярный С.-Петербургский журнал.

Доре Гюстав (1832–1883) — французский график, автор романтически эффектных, тщательно проработанных иллюстраций к Библии.

Магдебургское право — одна из наиболее известных систем феодального городского права. Сложилась в XIII в. в немецком г. Магдебурге. Юридически закрепило права и свободы горожан, их право самоуправления.

Знич, Гедемин, Кейстут — в средние века наиболее выдающиеся литовские князья.

Крыжаки — славянское наименование крестоносцев.

Вежа (др. — рус.) — шатер, кибитка, башня.

Трувор — легендарный князь, правивший в Изборске. Брат Рюрика.

Детинец — название внутреннего укрепления в русском средневековом городе вокруг резиденции князя или епископа. С XIV в. заменяется термином "кремль".

Брактеаты — куски листовой стали прямоугольной, треугольной или иной формы.

Пан — в греческой мифологии бог природы.

Лиможи — французские художественные изделия из меди с росписью непрозрачной эмалью (г. Лимож, расцвет производства: XV–XVII вв.).

Клуазонне (фр.) — перегородчатая эмаль.

Авгуры — в Древнем Риме древнейшая коллегия жрецов, толковавшая волю богов, главным образом по полету и крику птиц.

Зипун — русская крестьянская верхняя одежда типа кафтана, из грубого домотканого сукна без воротника, с длинными рукавами или без них и раскрашенными полами.

Мурмолка — старинная меховая или бархатная шапка с плоской тульей.

Ганза — торговый и политический союз северогерманских городов в XIV–XVI вв. во главе с Любеком. Главные торговые опорные пункты: Лондон, Берген, Брюгге, Новгород.

Рыбий зуб — моржовый клык.

Вальяцетый — торжественный, видный.

Траянова колонна — мраморная колонна в Риме, высотой около 38 м., воздвигнутая императором Траяном около 114 г. в честь победы над даками; ствол колонны покрыт рельефами со сценами из войн с даками.

Астарта — в финикийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви; астральное божество, олицетворение планеты Венера.

... "резные драконы"... — резные деревянные изображения в виде головы дракона на носовых частях скандинавских ладей.

Патина — пленка, образующаяся на поверхности изделий из меди и медных сплавов под воздействием окружающей среды или специальной обработки; имеет декоративное и защитное значение.

Белемниты — отряд вымерших морских моллюсков. Хорошо сохраняющаяся часть раковины известна под названием "чертов палец".

Лесс — тонкозернистая известковистая осадочная порода светло-желтого или палевого цвета.



Кантеле — карело-финский струнный щипковый музыкальный инструмент, род крыловидных гуслей.

Олафсборг — средневековый замок.

Упсала — религиозный и политический центр древней Швеции, резиденция архиепископа, место коронации шведских королей.

Фьорд — узкий глубокий морской залив с высокими крутыми и скалистыми берегами;

Шхеры — в Финляндии в Швеции небольшие, преимущественно скалистые, острова близ невысоких сложно расчлененных берегов морей и озер.

Синодик — список усопших для церковного поминовения.

Эпидерма — поверхностный слой.

Подписка — здесь: сбор пожертвований.

"Старые Годы" — русский ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и старины, 1907–1916, Петербург.

"Венецийское" море — Адриатическое море.

Музей допетровского искусства и быта — основан Н. К. Рерихом в Петербурге в 1909 г. Прекратил существование в 1917 г.

Фиораванти Аристотель (ок. 1417 — ок. 1486) — итальянский архитектор и инженер. С 1475 г. работал в России. Построил Успенский собор в Московском Кремле, участвовал в походах на Новгород, Казань и Тверь как начальник артиллерии и военный инженер.

Кукуй — одна из башен новгородского кремля.

Материк — уровень, с которого начинаются напластования культурного слоя.

Беклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец. Представитель символизма и стиля "модерн".

Геспериды — в греческой мифологии дочери великого титана Атласа, державшего на плечах небесный свод. Жили в сказочном саду, где росла золотая яблоня, приносящая золотые плоды. Добывание золотых яблок из сада Гесперид — последний и главный подвиг Геракла.

Музей Чернусского. — В основу музея была положена коллекция произведений буддийского и японского искусства, собранная итальянцем Энрико Чернуски.

Один — верховный бог в скандинавской мифологии.

"Стрелка-свистунка" — специально изготовленная боевая стрела, издающая при полете устрашающий свист.

Марфа Посадница (XV в.) — вдова новгородского посадника И. А. Борецкого. Глава боярской партии, выступавшей против присоединения к Московскому государству.

Атавизм — проявление признаков, свойственных далеким предкам, но утраченных в настоящее время.

Перевоплощение — фундаментальный закон многих философских систем древнего мира (Индия, Египет, Греция), согласно которому человеческий дух в ходе эволюционного развития проходит через целый ряд земных жизней. Признавался в раннехристианских общинах и утверждался некоторыми отцами церкви (Ориген).

Рог — мыс, коса, высокий берег.

Нырь — нырок, птица отряда утиных.

Будда (санскр. просветленный) — в буддизме святой, достигший высшей степени совершенства на земле и вступивший в нирвану.

Рамна и Сокка — реки в Индии.

Драбанты — в средние века стража, телохранители.

Атлантида — легендарный континент в Атлантическом океане, исчезнувший в глобальном катаклизме.

Рудовый — красный.

Мир пишется — здесь слово "мир" употреблено в значении "вселенная".

Ветхий — здесь: старый, древний.

Станный муж — странник, пилигрим.

---

---

<b>notes</b>
--------------



А. А. Спицын. "Курганы СПб. губ. в раскопках Л. К. Ивановского". СПб., 1896 г. и мои рефераты в Императорском Русск. археологич. общ. "Раскопки последних лет в курганах Водской Пятины" (1890), "Раскопки 1897 г. в курганах СПб. губ."; "Новые данные о курганах СПб. губ." (1898), "К вопросу о типах погребения в СПб. губ." (1898)

Иностранцев. "Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера".  
СПб. 1882.

А. А. Спицын. "Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении" ("Записки Имп. Русск. археолог, общ.")

Предание о золотой карете обще всей местности. Очевидно, как предания о вольнице повлияли на Поволжье в смысле зарытых лодок с золотом, так присутствие высоких особ дало повод к розыскам золотой кареты.

Ткань, которой торговали испанцы XII века.



Скандинавского типа.

Насыпи, сложенные из дерновой земли, отличаются удивительной прочностью. Каждый ком земли приходится брать энергичным ударом лома. Дерновая земля чаще встречается в волховских курганах. Суглинок тоже довольно стойко держится.

Схема описания городка взята с натуры. В Царскосельском уезде существует именно такой городок. На валу раскопкою обнаружены остатки сожженного оборонительного сооружения, тына. На самой площади городка, теперь густо поросшей лесом, оказалось только несколько грубо сложенных очагов. Следов жилищ вовсе не найдено. По всей окрестности известны многие лесные холмы, обыкновенно обильно покрытые камнем; на глубине  $1/4$  арш. —  $1/2$  арш. находится обильный уголь и зола. Предметов на подобных холмах не найдено. Про них в народе ходит смутное предание, что "тут что-то было", "собирались молиться".

Такие записи кладов действительно ходят в народе. Мне один мужичок предлагал купить такую книжку, купленную им от старого нищего. Рукопись была писана на русском, польском и эстонском, языках. Внешние даты, по-видимому, списаны с натуры.

В Царскосельском уезде указывают места, где, по преданию, некогда стоял огромный дуб, под который собирались из местных поселений. Место красивое, высокое; недалеко озеро, судя по берегам, бывшее прежде значительно больше. Раскопкою обнаружены сгнившие остатки толстых дубовых корней, на некотором от них расстоянии найдены груды золы, толщиной до 1/2 арш. — места старинных костров. В золе оказались черепки горшков, если не соответствующих таковым от XII века, то все же далеко не современного строя. По словам верных людей, бывший старик, умерший лет 20 назад, помнил остатки этого дуба, к нему собирались по праздникам хороводы водить. Если это так, то как долго прожил древнейший славянский обычай!

Чтобы составить понятие о грандиозности смоленских стон, ср.: Смоленская стена.  
И.И.Орлова. Смоленск. 1903 г.

Городец-на-Саре, быть может, представляет не что иное, как первоначальное место Ростова. Раскопка, которую удалось произвести на остатках городища, дала несколько характерных предметов X, XII вв. Гнездовского типа.

Кроме живых слов Костомарова в северных народоправствах, к картине величия Пскова, см. материалы: Псковский Городец и Мирож и как места первых псковских поселений. Ф. Ушаков. СПб., 1902.



Так в издании 1914 г. (Ред.).

Мощи св. Генриха были перенесены 18 июня 1300 г. из Nousiainen в Turku (Або). Епископ Генрих прибыл в Финляндию после 1150 г., когда в Швеции христианство укоренилось более 150 лет.

Примечания подготовлены Д. Н. Поповым.